

СЕРГЕЙ МАЛАШКИН

ЛУНА С ПРАВОЙ СТОРОНЫ
ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННАЯ ЛЮБОВЬ



Сергей Малашкин

**Луна с правой стороны или
необыкновенная любовь (сборник)**

Книжный магазин "Циолковский"

1927

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2=411.2)64-44

Малашкин С. И.

Луна с правой стороны или необыкновенная любовь (сборник) /
С. И. Малашкин — Книжный магазин "Циолковский", 1927

ISBN 978-5-9908592-6-5

Вышедшая в 1927 г. «Луна с правой стороны» выдержала в первые же годы множество переизданий, в том числе и в тогда еще независимой Латвии. Книга активно читалась и в СССР и русскими эмигрантами, ее обсуждали, ругали, хвалили, и допечатывали снова и снова. Но после 1929 года ее больше ни разу не переиздавали, и даже более того, само упоминание об этой самой известной книге Сергея Малашкина, прожившего после этого 60 лет, исчезает из предисловий его более поздних книг. Да, там было, что замолчать. Самоубийства комсомольцев на фоне сексуально-наркотической опустошенности, подавленные крестьянские восстания, воспоминания о расстрелах, летящая по ночному небу тройка, в которую запряжены удавившиеся растратчики, поразительный сплав, который был возможен только в двадцатые годы XX века.

УДК 821.161.1-1

ББК 84(2=411.2)64-44

ISBN 978-5-9908592-6-5

© Малашкин С. И., 1927

© Книжный магазин
"Циолковский", 1927

Содержание

Предисловие	6
«На ущербе хмурым Октября»	8
Сексуальная революция	11
Дьяволиада	13
Луна с правой стороны или необыкновенная любовь	15
Глава первая. К некоторым читателям	15
Глава вторая. Брат Татьяны Аристарховой	16
Глава третья. Рассказ	18
Глава четвёртая. Письма	23
Глава пятая. Разговор	30
Глава шестая. Записки Татьяны Аристарховой	33
Глава седьмая. Встреча	36
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Сергей Малашкин
Луна с правой стороны или
необыкновенная любовь

© 000 «Книгократия», 2017

* * *

Предисловие

Сергей Иванович Малашкин (1888-1988), герой двух революций, автор одной из самых эпатажных повестей 1920-х годов, певец индустриализации, пролетариата и Иосифа Сталина, прожил ровно сто лет. Он не был писателем первого ряда, но в его творчестве отразилось все, чем интересовалась и о чем спорила советская читающая публика, для которой дискуссии в литературных журналах выполняли функцию современных соцсетей.

Малашкин участвовал в революции 1905 года, был ранен, пережил две революции, Гражданскую войну, коллективизацию, Великую Отечественную, оттепель и годы застоя. Карьера писателя завершилась лишь в 1988 году, когда в издательстве «Художественная литература» был издан почтенный двухтомник его прозы, куда были включены рассказы 1930-х годов и длинный роман «Записки Анания Жмуркина», повествующий о революции и Гражданской войне, – самые идеологически благонадежные его произведения.

Малашкину повезло больше, чем другим советским писателям. В ссылке он познакомился с Молотовым и Сталиным, близко знал обоих, с Молотовым дружил. Борис Леонов рассказывает, как однажды под новый год, в 1926-м или 1927-м году к Малашкину приходили в гости «Сталин, Молотов, Буденный с гармошкой, Ворошилов», и, крепко выпив, пели церковные песни. На следующее утро оказалось, что бдительные соседи пожаловались на дебоширов в домоуправление, и Малашкина за распевание религиозных песнопений и шум оштрафовали, «проработали» и даже пригрозили исключением из партии. Малашкин не признался, кто именно был у него дома. Сталин был благодарен и шутил: «Спасибо, дорогой, что не выдал нас. А то бы и нас с Вячеславом могли вызвать на партсобрание и даже исключить из партии»¹. Возможно, именно благодаря этому знакомству Малашкин избежал участи многих своих современников.

Малашкин заявлял, что он абсолютно народный писатель – революция дала ему все: товарищей, образование, признание. Он родился в крестьянской семье (хотя и терпеть не мог писателей-деревенщиков, считал их кулаками²), в 1904-м году, как раз перед революцией, переехал в Москву. Работал – в том числе мыл бутылки в молочном магазине А. Чичикина. Чичикин был одним из первых в дореволюционной России предпринимателей, занимавшихся продажей пастеризованного молока в специализированных магазинах, имел собственный аэроплан и в 1917 году прятал у себя большевиков. Малашкина завлекали к себе эсеры, переживавшие тогда бум популярности, но он предпочел РСДРП и в 1905-м году вступил в партию. Во время декабрьского вооруженного восстания Малашкин был ранен жандармской пулей. Потом был сослан и в ссылке познакомился с Молотовым. В империалистическую его призвали на фронт, где он получил еще одно ранение. Во время революции был ответственным инструктором ЦК и даже предложил в 1927-м году раскулачить собственного отца. Партийная биография Малашкина была безупречной: например, сталинскую программу индустриализации, заявленную на XIV съезде ВКП(б) (об этом он пишет в «Сочинении Евлампия Завалишина о народном комиссаре и о нашем времени») он поддержал уже тогда, когда для сохранения жизни и свободы это было еще не обязательно. Он и совершенно искренне до самых последних дней считал Сталина преданным слугой советского народа и «великим кормчим». Образ Сталина в его творчестве окружен сиянием культа личности, но при этом сохраняет интимность: Сталин немного усталый, скромный, но несгибаемый народный любимец. В пересказе Малашкина с огненными словами Сталина был не согласен лишь один коварный персонаж с «острым подбородком», «небольшой жалообразной бородкой» и «тонкими саркастическими губами», в

¹ Леонов Б. *История советской литературы. Воспоминания современника*. М.: В. А. Стрелецкий, 2008.

² Чув Ф. Молотов. Полудержавный властелин. М: Олма-Пресс, 2002. С. 634.

котором легко узнается Троцкий. Свою упрямую приверженность заветам Сталина Малашкин не сменил даже когда переменился политический климат: в 1957-м году он отказался подписывать открытое письмо, осуждавшее «антипартийную группу Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Шепилова», которые критиковали политику Хрущева. Одним словом, канва его политических и жизненных выборов вполне вписывалась в образ «железного большевика». Однако на этот образ накладывалась причудливая и скандальная слава, которую Малашкин заработал в 1920-е годы.

«На ущербе хмуром Октябре»

1920-е годы стали эпохой беспримерного литературного бума, сравнимого разве что с неоднозначной свободой «лихих» 1990-х. «Русская литература сера как чижик, ей нужны малиновые галифе и ботинки из кожи цвета небесной лазури»³ – писал в эссе о творчестве Бабеля самый модный критик новейшей советской литературы Виктор Шкловский. Это определение применимо не только к творчеству Бабеля, но и ко всей эпохе, последовавшей за Октябрем: казалось, что тихая, интимная интонация старой литературы навсегда себя исчерпала, и на сцену вышла новая жизнь, наследовавшая самым ярким, радикальным и эпатажным достижениям авангарда 1910-х годов. Более того – старый литературный код, казавшийся советской молодежи пережитком империалистического прошлого, последовательно разрушался и подвергался критике в манифестах многочисленных литературных группировок и объединений.

На эту свободу самовыражения накладывались мировоззренческие и социально-политические изменения – советская власть и переформатированное общество быстро стали одними из главных заказчиков писательского труда. Искусство мыслилось в первую очередь как общественно важное событие. В русский художественный авангард, и без того интересовавшийся социальным прожектерством, правда, как правило, утопического свойства, вмешался авангард добровольной политизации.

При этом писатели выискивали все возможные способы расцветить серую как чижик русскую литературу новыми повествовательными приемами, темами и героями. В прозе 1920-х годов процветали элементы сказа, заумного языка и словесной живописи, а голос обрели самые разномастные персонажи – от «старательной женщины» проститутки Анели, за два фунта сахара отдавшей трем махновцам (Бабель), до товарища Пашинцева в кольчуге на голое тело, изгнанного из ревзаповедника (Платонов). Персонажи Малашкина приходятся платоновским наивным строителям коммунизма менее известными родственниками.

Сергею Малашкину нравилось скрываться за литературной маской рассказчика с какой-нибудь по-гоголевски смешной фамилией. Ананий Жмуркин и Евлампий Завалишин, прикрываясь деревенской наивностью, сближающей их с широкими массами читателей, без прикрас и излишнего политического политеса описывают события Гражданской войны и Революции. Немного наивный Евлампий, по его собственному признанию, «грешащий немного» писательством, страдающий от косноязычия, передает «слово» народному комиссару, публикуя его записки. Тот же прием Малашкин использовал и в повести «Луна с правой стороны», и в «Записках Анания Жмуркина». Такое стремление непременно разделить высказывание на несколько разных голосов отражает общие умонастроения 1920-х годов – эпохи, когда у литературы стояла задача дать право высказывания всем членам нового общества. Если в прозе модернистского типа читателю предлагалось понаблюдать, как писатель по мере творческой работы открывает в себе художественный талант (такова, например, сюжетная матрица «Портрета художника в юности» Джойса, многократно повторенная другими авторами), то в прозе советской был иной сюжет: писатель становился писателем благодаря воле и таланту тех, кому он дает голос. Эта стратегия отказа от писательского авторитаризма и передачи слова тем, кто может поделиться личными переживаниями, рассказать историю как очевидец, разумеется, не изобретение Малашкина, а общий прием, который использовали в ту же эпоху И. Бабель (например, в пронзительном в своей наивности и жестокости «Письме», написанном от имени мальчика-красноармейца Василия Курдюкова), Е. Замятин (предлагавший полное погружение в тоталитарный рай Единого Государства личные записки главного героя), М. Зощенко (поз-

³ Шкловский В. Бабель: Критический романс // ЛЕФ. 1924. 2-6. С. 152–164.

волявший своим персонажам открываться читателю напрямую, минуя строгий фильтр литературности).

Советскую критику, которая взяла на себя роль средообразующего инструмента, интересовал не только вопрос «как» говорят (например, «Как сделана «Шинель» Гоголя), но и вопрос «кто» говорит. Особенно важны его классовая принадлежность, судьба и ценность для нового государства – исходя из этого определялась целесообразность использования художественных приемов.

Такова была литературная ситуация, в которую вступал со своими первыми рассказами и повестями Сергей Малашкин. Он начал писать чуть раньше, еще до революции, когда на литературной сцене царили символисты. В университете он познакомился с Есениным, и они вместе ходили в салон к Д. Мережковскому «Мы поехали с Есениным искать славы, – рассказывал Малашкин. – Учились вместе в университете Шанявского, он писал о деревне, я – о городе. Поехали в Питер к Блоку, остановились у Клюева. Я спал на диване, а они вместе с Клюевым на кровати. Потом к Мережковскому отправились. Мы с Клюевым через парадный ход, а Есенин надел на себя коробок – там мыло, гребешки, – пошел через черный ход, узнал, что горничная – рязанская, и говорит: „Я тоже рязанский, стихи пишу“»⁴. В образе крестьянского символиста Малашкин выступил и после Революции: символистский мэтр Валерий Брюсов упомянул его первый сборник под названием «Мускулы» (1918) и назвал его «пролетарским Уитменом и Верхарном».

В 1920-е годы естественным способом обновления ветхих классических литературных схем стала ориентация «на Запад» (так, в частности, назывался манифест группы «Серапионовы братья»). Причем в руки советскому читателю попадали не только идеологически выверенные зарубежные писатели, такие как Элтон Синклер, но авторы куда менее «грозные» (например, О. Генри, Д. Лондон, Г. Уэллс). Стала понемногу издаваться и литература эстетствующего западного модернизма: в 1925 году на русский язык были переведены фрагменты из «Улисса» Джеймса Джойса, в 1927-28 гг. – несколько романов из цикла «В поисках утраченного времени» М. Пруста. Линия французского высокого стиля трогала пролетарского писателя Малашкина. Марсель Пруст был в числе его любимых авторов⁵, до Революции он планировал заниматься переводами французской поэзии: «А я хочу Мопассана, Бодлера, Верлена читать на французском языке, а не переводы, – возражает Малашкин. – Я, когда учился в университете Шанявского и работал, стал изучать французский язык, пробовал переводить Верлена»⁶. В любви к французским и русским классикам Малашкин честно признавался и в анкете журнала «На литературном посту»: «Очень хорошо знаком с русской классической литературой, а из иностранной – с французской. <...> Мастерству языка очень много учусь у Бунина»⁷.

Одной из немногих литературных группировок 1920-х годов, к которой мог бы присоединиться писатель с такими вкусами, было всесоюзное объединение рабоче-крестьянских писателей «Перевал». У «Перевала», которым руководил Александр Воронский, был наиболее свободный взгляд на то, как должно выглядеть пролетарское искусство. В № 2 журнала «Красная новь» за 1927 год была помещена декларация объединения, в которой утверждалось, что «великое содержание требует выражения в наиболее совершенных и многообразных

⁴ Чуев Ф. Молотов. Полудержавный властелин. М: Олма-Пресс, 2002. С. 615.

⁵ «Любимые книги – неизменный Пушкин, Достоевский, Брюсов, Марсель Пруст» – писал в предисловии к изданию 1988 года О. Михайлов, бывавший у Малашкина в гостях. («В поворотных событиях века» // Малашкин С. Избранные произведения в 2-х т. М: Художественная литература, 1988. Т. 1 С. 3)

⁶ Чуев Ф. Молотов. Полудержавный властелин. М: Олма-Пресс, 2002. С. 614.

⁷ На литературном посту. 1927. № 5-6 С.63.

формах»⁸ – манифест советского свободного искусства. В списке членов московского отдела «Перевала» вторым стоял С. Малашкин.

Малашкин появлялся в «Красной нови» – близком к «Перевалу» наиболее элитарном советском издании конца 1920-х годов, которые публиковало всех т. н. «писателей-попутчиков», сейчас вошедших в учебники истории литературы – М. Горького, Б. Пастернака, Ю. Олешу, А. Белого, А. Толстого, Б. Пильняка и т. д. В № 10 «Красной нови» за 1927 год был помещен рассказ Малашкина «В бурю», опубликованный в настоящем издании. Этот рассказ наиболее соответствует эстетике журнала: тонко чувствующая главная героиня, жестокий, но изящный революционный сюжет (прекрасная девушка мстит за возлюбленного-коммуниста) и пространные описания приморской природы с розами, многоцветным морем и дымящимися облаками.

В № 3 «Красной нови» за 1928 год были опубликованы фрагменты из романа «Народный комиссар».

Однако скандальную известность Малашкину принесла повесть 1926 года «Луна с правой стороны».

⁸ Красная новь. 1927, № 2. С. 236.

Сексуальная революция

В эссе «Дорогу крылатому Эросу!» Александра Коллонтай, одна из главных идеологов женского раскрепощения, объясняла, что вся энергия в молодой республике была брошена на революцию и Гражданскую войну, а не на любовные и эротические переживания: «Перед грозным лицом великой мятежницы – Революции – нежнокрылому Эросу („богу любви“) пришлось пугливо исчезнуть с поверхности жизни»⁹. Однако к середине 1920-х эта тема стала вновь одной из главных в литературе. В 1917 году одним из первых декретов советской власти церковный и гражданский брак объявлялся частным делом брачующихся. «Новый быт» комсомольской молодежи подразумевал новую, свободную половую мораль, однако часто она оборачивалась довольно циничным использованием «раскрепощенных» женщин. Например, героиня рассказа Пантелеймона Романова «Без черемухи» описывала любовные манеры студентов как не слишком галантные: «Любви у нас нет, у нас есть только половые отношения, потому что любовь презрительно относится у нас к области „психологии“, а право на существование у нас имеет только одна физиология. <...> И на всех, кто в любви ищет чего-то большего, чем физиология, смотрят с насмешкой, как на убогих и умственно поврежденных субъектов»¹⁰. Самым скандальным и откровенным в этом отношении был роман Иосифа Калининкова «Мощи», который живописал гомо- и гетеросексуальные утехи в монастырской среде. Роман в итоге был запрещен и изъят из библиотек. О нем – и о повести Малашкина – писал Маяковский:

*Но... Калининков под партой,
Провоняли парту «Мощи».*

*Распустив над порнографией слюну,
Прочитав похабные тома,
С правой стороны луну
У себя устроят по домам¹¹.*

«Луну с правой стороны» не запретили, но публика была крайне заинтересована и шокирована проблемой столкновения между риторикой свободной любви и реальностью – еще бы, ведь там живописались (с равной долей любопытства и отвращения) групповые сексуальные практики комсомольской молодежи.

Главная героиня, дочь кулака Таня Аристархова, поначалу проникается идеями революции, но по приезду в Москву попадает в плохую компанию циничных молодых людей и девушек, прикидывающихся комсомольцами. Эти молодые люди проводят «афинские ночи» (оргии), курят «анаша» и всячески морально разлагаются. Таня становится «женой двадцати двух мужей», облачается в газовые платья и читает вслух стихи Александра Блока. Омут разврата затягивает ее, но ей удается вырваться благодаря любви к честному коммунисту.

У Малашкина, знавшего и любившего французскую декадентскую поэзию и русских символистов, было достаточно красок, чтобы живописать эти явления «нового быта». Декадентство в повести – это не только бодлеровская любовь героев к «анаша», но и не прямые цитаты из классиков французского символизма – например, красочное и подробное описание разлагающегося лошадиного трупа, отсылающее к знаменитому стихотворению Бодлера «Падалъ», –

⁹ Коллонтай А. Дорогу крылатому эросу! (письмо к трудящейся молодежи) // Молодая гвардия. 1923. № 3. С. 112.

¹⁰ Проза 1920-1940-х годов: в 3 кн. / гл. ред. Д.В. Тевекелян; сост. и коммент. Н.В. Корниенко. – М: Слово/Slovo, 2008. Кн. 3. С. 217.

¹¹ Маяковский В. Про школу и про учение // Маяковский В. Полное собрание сочинений в 13 т. М.: Гос. изд-во худож. лит. 1955-1961. Т. 9. С. 406.

первое, что встречает приехавшую в Москву Таню. Главы, посвященные «искушению» и «развращению» Тани, строятся не по прямолинейной схеме борьбы мировоззрений, но по принципу борьбы эроса с агапэ, плотского с мирским – традиционной для декадентских романов. Таня Аристархова благоухает, носит газовые наряды, соблазняет рабочего-коммуниста Петра – не в духе стыдливого морализаторства, но в полном соответствии с эротизмом модерна начала века, и ее грехопадение, а потом очищение – вопрос не только этический, но и эстетический. Луна в повести «пахнет антоновскими яблоками» – неслучайно Малашкин говорил, что учился у Бунина. Другой его рассказ – «Наваждение» – большевистская вариация на тему «Солнечного удара».

Разумеется, после публикации подобной откровенной, но при этом идеологически беззащитной (слишком уж много в ней было «учебы у классиков» и мало оптимизма) повести разразился скандал. Особенно активно в нем участвовал журнал «На литературном посту» Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), наиболее активно участвовавшей во всех общественных скандалах, опубликовал целую серию статей и откликов на «Луну».

«Что перед нами в повести: комсомол или публичный дом?» – возмущалась критик журнала «На литературном посту» Г. Колесникова и предполагала, что внимание Малашкина к «половому вопросу» продиктовано его собственной несостоятельностью в этой сфере. Малашкин попал в цель – морализаторствующая публика возмущалась газовыми платьями и интересовалась, на какие-такие деньги комсомольцы могли купить себе «анаша», если студенческая стипендия составляла только 20 рублей. Хотя повесть пережила девять¹² переизданий, вердикт политически ангажированных литераторов был суров: «Выступивший т. Радек сказал, что Есенин – не наш поэт и его творчество и творчество Малашкина могут принести только вред нашей молодежи»¹³; «Пускай копаются в ранах „больного человека“, скучают „без черемухи“ и ждут счастья от „луны с правой стороны“. Мы идем с „железным потоком“, с „цементом“, чтобы выстроить новую жизнь»¹⁴. Главный довод был прост: таких плохих, развращенных и – главное – по-декадентски страдающих коммунистов в Советском Союзе быть не может. Более того – Малашкин, скорее всего, письма Тани Аристарховой выдумал. Смещение фантастики и реальности было странным для широкого читателя, не особенно знакомого с декадентским ядовитым демонизмом.

¹² «Меня ругали за “Луну с правой стороны“, а ведь неплохо это сделано, девять изданий было, вот хозяйка его, Полина Семеновна, хвалила, – говорит Малашкин» (Чуев Ф. Молотов. Полудержавный властелин. М.: Олма-Пресс, 2002. С. 637)

¹³ На литературном посту, 1927, № 5, С. 107.

¹⁴ На литературном посту, 1927, № 7, С. 38.

Дьяволиада

Однако декадентская чертовщина прекрасно вписалась в новую советскую реальность задолго до того, как подобными экспериментами прославился М. Булгаков. Черт и революция – тема, подсказанная самой логикой крушения старого мира. В «Петербурге» А. Белого черт по имени Шишнарфнэ, «паспортист потустороннего мира», является к террористу-эсеру Дудкину. В «Хождении по мукам» А. Толстой упоминает среди знамений грядущей революции слух о том, что «по улице Васильевского острова ехал на извозчике черт». Там, где разрушаются миры, трещит по швам общество или строится новый мир, кроме ангелов и титанов, всегда выходит на сцену нечисть. Герой «Луны» Исайка Чужачок, извивающийся провокатор, посреди оргии читающий лекцию о половой свободе, – переодетый в современный наряд («серый костюмчик в клеточку, белая в синюю полоску рубашка», «замшевые остроносые полуботинки и серые в крупно-белую клеточку чулки») черт, «мигающий» и подергивающийся, как на шарнирах.

Черт преследует и комиссара Андрея Завулонова из повести «Больной человек». Советский черт разъезжает на тройке лошадей: «председателе волисполкома, на секретаре волисполкома и на заместителе председателя волисполкома». Образ московского черта принял белый вахмистр, которого Андрей Завулонов убил в Гражданскую войну. Сцена погони за вахмистром похожа на старинный *danse macabre*: «Мы не бежали, а нелепо топтались на месте, оттопывали усталыми ногами, а возле нас на снегу подпрыгивали наши огромные тени, откалывали танец. Наши тени походили на этот раз на скелеты смерти». Старинная мифология возрождается в годы Гражданской войны.

Комиссару Завулонову мерещится живой леший на картине в трактире, он слышит крики ведьм, а после отповеди ожившего портрета Ленина о том, что комиссар «спасовал на арене НЭПа», «стал пованивать» и ему больше не по пути с рабочими, Андрей Завулонов, мучимый угрызениями совести и разрываемый безумием, прыгает с пятого этажа. Для настоящего большевика НЭП стал разочарованием, а самоубийство – единственным способом обрести свободу там, где даже революция оказывается дискредитирована, изгажена магазинами, трактирами и свиными котлетками. Столкновение идеализма, который побуждал к действию героев Гражданской войны, и реальности первого послереволюционного десятилетия приводит к болезням – социальным, психическим, физическим.

В 1930-е годы стиль Малашкина стал выравниваться и утратил свою мозаичную изменчивость. Самое главное – писатель стал браться за темы куда более крупные. Молоденьких наивных комсомолок и больных комиссаров сменили наркомы, вместо оргий с «анаша» и вином Малашкин стал описывать съезды партии в Андреевском колонном зале и крупные исторические события. В повестях и рассказах, помещенных в настоящем издании, сохраняется аромат раннесоветской эпохи, с ее жизнестроительным оптимизмом (подернутым, впрочем, первыми разочарованиями) и литературным многоголосием. Историческая и художественная реальность переплавились, и одна стала просвечивать сквозь другую. Малашкин это чувствовал. Так, в «Записках Анания Жмуркина» сквозь ад Первой мировой виден Данте (его герой читает товарищам по окопам итальянского поэта), в «Луне с правой стороны» сквозь разложение эпохи НЭПа видны Бодлер и символисты, а черт Достоевского является поговорить по душам с комиссаром. Невиданный советский проект сам был сродни проекту художественному – поэтому так важно было через преемственность культурных эпох ощущать единство с историей, целостность общего человеческого движения. Советские книги по-прежнему вдохновляют и подкупают читателя абсолютно искренней вовлеченностью в жизнь общества и вызывают такие чувства, которые сейчас под запретом или кажутся наивным. Писатель Михаил Елизаров в романе «Библиотекарь» восхищается деструктивной силой этих эмоций, однако

кроме острой, яростной ностальгии по утраченному светлому будущему советская литература вызывает и рефлексию о смене времен. Пусть не самые звездные и известные, повести Малашкина воскрешают фон, дух и запах своей эпохи и делают ее ближе.

Анна Нижник

Луна с правой стороны или необыкновенная любовь

Н.П. Смирнову

Глава первая. К некоторым читателям

Уважаемые читатели! Я хорошо знаю, что одни из вас, прочитав мою повесть, скажут: «Зачем было нужно автору брать больных типов, когда у нас и здоровых сколько угодно»; другие скажут ещё более упрямо: «И нужно же было автору копаться в такой плесени, вытаскивать из неё отвратное, показывать нам, когда жизнь кругом полна радости, любви, творческого труда»; остальные ещё более жестоко поступят, чем первые и вторые, и, возможно, не дочитав повести до конца, пошлют автора просто куда подальше, – повесть же, в пылу неприятного раздражения, выбросят за окно, редактора, напечатавшего повесть, несмотря на то, что он замечательный человек и во всех отношениях высоконравственный, обложат крепким, хорошо проперченным российским словом. Такие упреки не должны смущать автора, он должен писать только о том, что видит собственными глазами, что чувствует собственным сердцем, а поэтому, да простят мне читатели за такое невнимание к ним, – я окончательно выброшу из своей головы все будущие возражения недовольных, расскажу в сей повести необыкновенную любовь, вернее короткую историю одной девушки, хотя в её любви я ничего необыкновенного не нахожу, так как с такой любовью в наши дни мне не один раз приходилось встречаться и наблюдать, но всё же мы будем её называть редкостной и необыкновенной. Тут я должен сознаться перед читателями, что, описывая эту историю, я не только наблюдал за своей героиней, наблюдал за многими другими типами, окружавшими её, похожими на мою героиню, пользовался её личными документами: дневником, огромной пачкой писем. Все эти документы – дневник и письма – были переданы мне её братом через несколько дней после ужасной драмы, которая необычно потрясла многих её знакомых, брата, в особенности автора настоящей повести, в этой драме, как выяснилось впоследствии, кроме смелого сверхчеловеческого прыжка в новую жизнь, ничего непостижимого не было... Ещё я пользовался рассказами брата, моего хорошего товарища и друга. Вот что он мне рассказал о детстве своей сестры Тани Аристарховой.

Впрочем, об этом после.

Глава вторая. Брат Татьяны Аристарховой

– Ты знаешь, что я брат Тани только по отцу, а не по матери, – не поднимая головы, проговорил он глухо, – матери у нас были разные. Мою мать звали Ариной, а её мать – Ольгой.

– Я этого не знал, да ты мне никогда об этом не говорил, – перебил я и очень внимательно посмотрел на своего друга.

Он, откинувшись на спинку дивана, сидел с опущенной головой и, глядя на свои колени, обтянутые чёрными в белую полоску брюками, медленно вертел в руках серую кепку в тёмно-жёлтую клеточку. Я остановился на его руках, тыл которых, в особенности первые фаланги пальцев были совсем не похожи на цвет его лица и ярко выделялись. На его тыльных сторонах ладоней и на фалангах пальцев блестел нежный золотистый волос, а из-под него с прозрачной кожи желтели редкие, но довольно крупные крапинки конопушек. От его рук я перевёл глаза на лицо, и только тут я заметил, что он несколько не похож на свою сестру Таню: он был небольшого роста, имел весьма могучую голову, которая тяжело сидела на узких плечах и чрезвычайно уменьшала и так маленькое и щуплое его туловище. Глядя на его голову, создавалось ужасно неприятное впечатление: будто бы на плечах находится не его голова, а чужая, какого-то богатыря, его же голову украли, подменили другой, и вот с этой другой головой он бродил по русской земле, бродил по Москве, а сейчас сидит у меня в комнате и, привалившись к спинке дивана, рассказывает детство сестры и попутно с её детством и своё. Лицо у моего товарища белое, приятное и ни капельки не похоже на цвет его рук. На его лице не было ни одного золотистого волоса, ни одной конопушки, что ещё больше увеличивало впечатление, что его голова ничего общего не имеет с его туловищем и напоминает о другом человеке, исключительного телосложения. На его лице, над толстыми добродушными губами были короткие, но широкие тёмно-сизые усы; большой, мясистый, прямой, с чуть-чуть вывернутыми наружу ноздрями, нос; прямые, сросшиеся друг с другом, густые чёрные брови; под густыми бровями в глубоких и тёмных орбитах круглые, как две пуговицы от солдатской шинели, медные глаза; тупой подбородок, резко раздвоенный на две половинки, а на нём острый и такого же цвета, как и усы, пучок бороды; небольшие и плотно прижатые к сизой стриженной голове уши, которые были изумительно прекрасны, прозрачны, а главное – были похожи на хорошо отделанные раковины. Вот таким был мой товарищ. А его сестра была совершенно не похожа на него. Она была замечательной, достойной особого внимания, красавицей.

– Ты что на меня так смотришь? – вскинул он испуганно голову и, поймав мой взгляд на себе, густо покраснел и, сильно волнуясь, проговорил: – Я несколько не похож на свою сестрёнку, несколько, да и на отца своего не похож, разве вот только руки, – и он поднял с колен руки, протянул их вперёд, положил на стол и, улыбаясь, стал показывать мне и рассматривать сам.

– Руки у меня, пожалуй, отцовы, а больше во мне ничего нет от отца... Бабушка мне часто говорила, что с лица я прямо вылитый дед, и если бы ещё его рост, тогда бы окончательно я был похож на деда, а сейчас неизвестно на кого: руки отцовы, голова деда, а туловище...

– Зачем ты это говоришь?

Друг громко рассмеялся.

– Ты же на меня смотрел.

– Разве на тебя нельзя и посмотреть? – стараясь спрятать своё смущение, оправдывался я. – Я тебя вижу...

– Ты на меня никогда так не смотрел, как сейчас.

– Это тебе кажется.

– Ничего друг, не кажется. Я хорошо знаю, что ты искал во мне сходство с сестрой и не нашёл, – верно ли я говорю?

– В этом грехе каюсь, – ответил я и тоже почему-то густо покраснел. – Но я, отыскивая в тебе сходство с сестрой, ничего плохого не держал в своей голове.

Друг резко дёрнулся, убрал руки со стола, снова откинулся на спинку дивана.

– Я это знаю. Я также знаю, что я больше похож на урод, чем на человека.

Я резко перебил его.

– Зачем ты это говоришь? Ты, ведь, хорошо знаешь, что я...

Он снова громко захохотал, и хохот его был похож на крик совы; от его хохота мне стало неприятно, да и комната как будто стала то подниматься кверху, то опускаться, и так несколько минут, пока он не перестал хохотать.

– Не будем об этом говорить. Ты знаешь, что я несколько не похож на сестру. Давай, я лучше тебе расскажу об её детстве.

И вот что он мне рассказал.

Глава третья. Рассказ

– Про отца Тани в селе Воскресенском, в котором он жил и торговал, шла недобрая слава и далеко распространялась на соседние сёла и деревни.

– Он тебе тоже отец? – перебивая его, любопытствовал я.

– Отец? – вскидывая на меня медные глаза, дёрнулся вдруг и закричал: – Какой он мне отец! Я его не считаю своим отцом с того самого времени, как он убил мою мать!

– Убил? – удивился я. – Ты мне никогда об этом не говорил. Как это случилось?

Друг не ответил на мой вопрос. Он, привалившись к спинке дивана, сидел с опущенными глазами, смотрел на свои тонкие длинные кисти рук, что лежали свободно с раздвинутыми пальцами на коленях, сияли золотистым пушком, редкими конопушками, а когда я успокоился, он глухо проговорил:

– Ты хочешь слушать?

Его голос был сух, придушен и был похож на только что вырвавшийся звук из пустой дубовой бочки.

– Хочу.

Мы встретились глазами.

– До солдатчины отец Тани жил очень бедно, почти с самого детства ходил по богатым мужикам, больше всего служил пастухом в родном селе. Должность пастуха, несмотря на то, что она была лёгкой и в ней тяжелее кнута ничего не поднимешь, считалась в нашем селе самой позорной. Девицы, даже самые бедные, даже те, у которых избы глубоко вросли в землю, повалились на бок, гнушались пастухом, считали за большой стыд, чтобы на игрищах, на посиделках посидеть хоть полчаса с ним рядом на одной лавке, на одном конике, а старались как можно быть от него подальше, чтобы на следующий день по селу не пошла дурная слава, что такая-то, мол, девица сидела с пастухом рядом и любезничала. О богатых девицах говорить не приходится: они только издевались над пастухом, смотрели на него свысока и во время посиделок, когда играли в игру «люб или не люб», брали его через старосту к себе, сажали рядом, а когда староста говорил «поцелуйтесь», девицы пронзительно хохотали, кричали «не люб» и гнали его дальше, к другим девицам, а те – ещё дальше, и так под хохот и насмешки кругом через всю «беседу» до тех пор, пока он сам не догадается и не уйдёт с посиделок.

С отцом Тани то же самое проделывали девицы, несмотря даже на то, что он был недурен собой: он был высокого роста, крепкого телосложения, рыжеватый с лица, голубоглазый, одевался опрятно, ступал на землю сильно, но легко, вразвалку, так, как ходят волки, – это пастушья походка осталась у него и до сего времени, несмотря на военную выправку, так что дай ему тогда хорошую избу, немудрящую лошадёнку, – он вполне мог бы сойти за приличного жениха и, пожалуй, ни одна девица на побрезговала бы гулять с ним на посиделках и быть его женой. Отец Тани, нужно отдать ему справедливость, не только был умён, но и поразительно хитёр, так что, когда над ним издевались девицы, он никогда не показывал вида, что он недоложен, что он хорошо понимает, что над ним издеваются, – всегда был весел, всегда отвечал на шутки шутками, на насмешки насмешками, а если над ним хохотали, то он старался ответить более громким хохотом, чтобы заглушить смех других, и это ему почти всегда удавалось. Но, несмотря на его ум и хитрость, девицы относились к нему плохо, считали за позор любезничать с ним, сидеть на посиделках рядом, играть в соседи, «люб или не люб». Они всегда старались избавиться от него или просто поиздеваться над ним, погонять его по избе от одной девицы к другой, и так без конца, пока не надоест...

Ушёл он на военную службу с радостью, так что перед уходом три дня подряд пьянствовал, пел одну и ту же частушку: «Голова ж ты моя, голова, до чего ж ты меня довела». На слёзы матери он отвечал коротко, просто, но весьма внушительно: «Не скули. Не пропадёшь. А

я чувствую, что солдатчину мне Бог посылает, и я через неё, Бог даст, в люди выползу, человеком стану. Поняла?» И верно: вернулся он бравым солдатом, с тремя нашивками, в блестящих сапогах со шпорами, с небольшим зелёным сундуком, обитым жостью. В этот же вечер, когда пришли посмотреть, поздравить с окончанием службы родные и соседи, полюбоваться на его холёное лицо, пощупать доброту солдатского одеяния, повздыхать, посоветовать относительно его заброшенного хозяйства, а главное о том, что на селе очень много хороших девок, и ему, чтобы поправить хозяйство, обзавестись домком, необходимо жениться и прикрепиться к родному гнёздышку, и когда соседи и родные, наговорившись в досталь, ушли, и он остался в избе только с матерью, – стал расспрашивать её относительно девиц. Остановился он на дочери богатого мужика и прямо заявил матери: – Сколько ей теперь лет? – Сколько ей теперь лет-то? – повторила мать. – Когда ты пошёл в солдаты, ей было четырнадцать, а теперь, пожалуй, около двадцати будет – Около двадцати? А много за неё женихов сваталось? – Мать ответила не сразу – Да как тебе сказать-то: раньше, когда она была помоложе-то, не было отбоя, а теперь что-то не слышно. Да ты не вздумал ли её посватать. А? – Её, – ответил он, – завтра иди свахой. – Мать всплеснула руками: – Да ты что, сынок, с ума рехнулся. А?! Это из такой завалюшки, да в такой тысячный дом идти свахой, да я лучше сквозь землю провалюсь, чем переступлю порог этого дома... Но сын был неумолим, и мать была вынуждена отправиться свахой к богатому мужику... Богатый мужик, как и думала мать, показал ей порог и за то, что она опозорила своим сватовством его дом и девку, выгнал её чуть не в шею. После такого скандала отец несколько не смутился, даже, наоборот, хвастался, что он обязательно усватает Аришку, женится на ней, и он тогда уж ей задаст, как гордиться, гнушаться таким военным, как он, человеком; он ей покажет тогда кузькину мать, так что она будет век помнить ту обиду, которую она нанесла ему своим отказом выйти за него замуж. Ходил он так с неделю, потом ушёл в уездный город, пропадал там до самого рождества, а когда вернулся домой, снова стал говорить, что он обязательно женится на Аришке. Слово своё он сдержал; на третий день рождества убрался в военное, надел шпоры, накинул на плечи шинель и, не говоря ни одного слова матери, отправился прямо к богатому мужику, к отцу Арины. Когда он пришёл к богатому мужику, всё семейство было за обедом – за большим блюдом лапши со свиной. Отец не растерялся, помолился Богу, непринуждённо отвесил низкий поклон, почтительно, но с достоинством сказал: – хлеб да соль. Потом пошёл к чулану и свободно сел на лавку. Не ожидая такой дерзости от бывшего пастуха, что он решится после недавнего скандала прийти в дом, в котором ему так жестоко отказали и выгнали с позором его мать, отец Арины совершенно опешил и, чтобы показать ему на дверь, он только повернул в его сторону голову, вытаращенными глазами стал смотреть на него, ничего не соображая. Опомился он только тогда, когда проговорила его жена: – Вам что угодно, Василий? – Да, вам что угодно? – повторил он за женой и крикнул что-то непонятное, взглянул на дочь, что была ярче кумача и сидела неподвижно с ложкой, стараясь ни на кого не глядеть, а скорее провалиться сквозь землю в тартарары, ежели не глубже, – тяжело засопел, заворочал челюстями. Обед продолжался недолго: его постарались скомкать и убрать со стола, а когда обед убрали и лишние члены семьи для приличия вышли из избы и остались в избе только старшие хозяева и старики, отец Арины обратился к солдату: – По какому делу? – Солдат пододвинулся к столу, ничего не говоря, скинул с плеч шинель, достал из бокового кармана гимнастёрки толстый, из простой сапожной кожи бумажник, развернул его, вытащил несколько штук катеринок, помахал ими перед выпученными глазами хозяина и стариков, которые, когда он вынимал бумажник, подошли ближе к столу и с жадным любопытством смотрели на бумажник, на пальцы солдата, потом на катеринки, что с минуту трепыхались и нежно шелестели перед их выпученными глазами. Солдат, удовлетворившись произведённым эффектом, сурово, с определённой деловитостью в голосе, проговорил: – Видали? – и положил катеринки в бумажник, и раньше, чем убрать его в карман гимнастёрки, постучал им несколько раз по столу, чтобы ещё больше ошарашить отца Арины,

глаза которого тяжело лежали на бумажнике, медленно, как два бурых паука, двигались за ним до кармана гимнастёрки, и только тогда оторвались и взглянули в лицо обладателя такого прекрасного бумажника, когда он ещё раз проговорил: – Видали? – и глубоко спрятал его в карман. Первым опомнился отец Арины, он дико обвёл глазами стариков и жену, которые, в свою очередь, удивлённо осматривали солдата. – Да ты хоть бы стол-то накрыла, – крикнул другим, поразительно изменившимся голосом отец Арины на жену – Кто же так гостей-то встречает. А? – Через каких-нибудь полчаса стол был в настоящем порядке и в вышках сидел дорогой гость, вёл с хозяином кроткую беседу о будущей жизни...

Ровно через две недели Арина была выдана замуж за солдата, которого уже не звали на селе пастухом, а величали Василием Петровичем, и у которого к весне была новая изба, мелочная торговля, а ровно через год прибавился к лавке и кабак и ещё появился на свет человек, который сейчас сидит перед тобой, рассказывает тебе детство сестры Тани... Моя мать не любила отца и была выдана за него силой. После свадьбы несколько раз бегала от мужа и за своё бегство получала страшные побои от него: бил он её не на живот, а на смерть, так что после каждого побоя она подолгу лежала в постели, ходила с синяками. К двенадцатому году своего замужества высохла, как щепка, стала покашливать и поплёвывать по утрам кровью. Я никогда не забуду одного случая, после которого я возненавидел отца всеми фибрами своей детской души и готов был его зарубить топором, ежели бы топор тогда попался мне под руки, но я его не зарубил... я только прокусил ему кожу на шее так, что брызнула кровь... – Тут рассказчик нервно дёрнулся, взял с дивана кепку, завертел её в руках. – Ты прости, пожалуйста, что я рассказываю не то, что надо тебе, а другое...

– Что ты, что ты, – запротестовал я, – всё, что ты рассказываешь, для меня очень интересно, и я тебя с большим вниманием слушаю.

Он снова положил на диван кепку, поднял на меня медные глаза.

– Да. Я думаю тоже, что интересно, иначе будет тебе трудно понять, почему моя сестра вышла такой, а не такой, какой я желал бы её видеть сейчас.

– Ну, в этом ты не прав, – возразил я, – в этом виновата обстановка, в которую она попала.

– Не будем об этом спорить, – резко оборвал он и добавил, как будто желая закрепить за собой правоту высказанной мысли:

– Прошлое глубоко сидит в нас, и оно часто нас тянет назад, в особенности, если прошлое, как моё, как моей сестры... Этот случай был роковым для моей матери, и она не вынесла его и через две недели умерла. После её смерти я с такой силой возненавидел отца, что даже, слов не находил, да и сейчас не нахожу, чтобы выразить всю свою ненависть к нему. Случилось это так: мать моя заболела и не могла выйти в лавку отпустить керосина какому-то мужику, и мужик ушёл к другому торговцу за керосином. Отец про это узнал, с кулаками набросился на мать и стал её бить. Бил её он так жестоко, бил так, как часто бьют мужики своих лошадей, когда они отказываются вывозить на гору не под силу нагруженные на них тяжести. Бил первое время кулаками, а когда она упала на пол, он остервенел, навалился на неё, намотал на руки и косы и, держась за них, как за вожжи, стал таскать её по полу, заглушая скверными словами её крик и нечеловеческие стоны. Я не выдержал крика и стонов матери, бросился к отцу, вцепился в его плечи, но он был неподвижен и крепко давил коленом грудь матери, и я отлетел от него как мяч от каменной тумбы... Потом я снова бросился к нему и вцепился изо всей силы зубами в его жирный розовый загривок и замер, как будто прислушиваясь к каждому хрусту его жирного мяса... Опомился я только тогда, когда шлёпнулся больно на пол, получил тупой удар в живот, от которого я, как кошка, завертелся по полу, а мать ещё больше застонала, безумно метнулась, подползла ко мне судорожно трясущимися руками обвила моё тело и, стараясь закрыть его собой, затряслась на моей груди... – Тут друг быстро откинулся от спинки дивана и, наклоняясь ближе ко мне, навалился грудью на стол, скривил лицо, яростно застучал кулаком по столу – Я никогда не забуду этого дня! Я никогда не забуду больших, пол-

ных ужаса, глаз матери! Никогда!.. Ты понимаешь, никогда!.. После этого дня я поверил тем рассказам, которые ходили про моего отца по нашему селу, по соседним сёлам и деревням что он разбогател не от честного труда, а оттого, что убил какого-то коробейника-красноярца, и ещё от того, что будучи в солдатах каптенармусом, скопил себе денег путём систематического обкрадывания и без того скудного солдатского пайка... К этим рассказам пустил я ещё рассказ о том, как он убил мою мать.

– Что же ему за это было?

– Ему? Ничего. Через две недели умерла моя мать. Через месяц он женился на бедной девушке, но на удивительно красивой. От этой жены у него родилась Таня и два сына... Он, чтобы я не болтал лишнего, не мозолил ему глаза, отдал меня в уездный город к одному купцу в мальчишки, у которого я прослужил до Февральской революции. После Февральской революции вернулся обратно в родное село, но не к отцу, а к деду, к отцу моей матери который меня очень любил, часто навещал меня в городе. В эту пору мне было двадцать шесть лет, здоровья я был очень слабого, благодаря которому я был освобождён от военной службы, и война прошла мимо меня спокойно, хотя несколько раз призывали и осматривали. Но отец не разрешил мне жить у деда и потребовал к себе. Дед тоже посоветовал идти к отцу, а когда я собрался уходить, он мне сказал: – Прошлого не вернёшь, да и не надо его, а он всё же тебе отец и капитал больше ста тысяч имеет – С такими напутственными многозначительными словами я и ушёл от деда к отцу. Отец меня принял с деловитой сухостью, без особенных отцовских ласк. Он был мне всё так же противен, и я к нему отнёсся спокойно, деловито, словно к совершенно незнакомому купцу, к которому я только что пришёл наниматься в приказчики. Да оно так и вышло с первой же встречи. Отец, не рассуждая долго со мной, заявил прямо: – Ты сколько получал у хозяина за последнее время? – Двадцать и всё готовое, – ответил я и заглянул ему в глаза. Отец выдержал мой взгляд, разглядел козлиную рыжую бороду, откашлялся, высморкался в красный с чёрным каемками платок, положил его в карман суконной поддёвки. Потом, в свою очередь, взглянул в мои глаза и, видя, что я выдерживаю его пытливый и ищущий чего-то в моей душе взгляд, отвернулся и сказал: – Столько же и я тебе буду платить. С завтрашнего дня будешь находиться при лавке. – Слушаю, – ответил я сухо и стал смотреть на розовую скатерть, на самовар, на стаканы, на весёлую резвую и необыкновенно красивую голубоглазую девочку лет четырнадцати, что сидела за столом и упорно смотрела на меня. Отец повернулся ко мне спиной и вышел из дома. Я остался один с девочкой. Она была не по годам высока, и ей можно было вполне дать не четырнадцать лет, а семнадцать. Она была, повторяю, необыкновенно красива во всех отношениях: высока, стройна, у неё изящное лицо, правильный нос, правильные черты лица, тонкие чёрные, похожие на стрелы, брови, длинные ресницы, большие голубые глаза, а на стройной прямой спине рассыпались кольцами чёрные пряди волос, перехваченные немного пониже затылка тёмно-красной шёлковой лентой. – Ты что на меня, Танюшка, так смотришь? Разве не узнаёшь? – улыбаясь, спросил я её. – Нет, узнала, – ответила она и тоже улыбнулась, – ты мне старшим братом приходишься. – Кто это тебе сказал, что я братом тебе прихожусь. А? – Кто сказал? – спросила она и засмеялась, – вот этого я не скажу, сам отгадай. – Да как же я, Танюша, отгадаю-то. А? – В это время снова вошёл в дом отец и, не глядя на меня и на дочь, прошёл мимо нас в другую комнату, и через две-три минуты прошёл обратно и, тоже не глядя на нас, вышел из дома и больше не возвращался до самого запора лавки. – Ушёл, – вздохнула Танюша. – Он меня очень любит, а я его боюсь. У него страшно мягкие и холодные руки. Когда он мне подаёт их, и я беру в свои, напоминают лягушек, а иногда парное молоко. – Разве ты, Танюша, брала когда-нибудь в руки лягушек. А? – Нет, никогда ни брала, – густо покраснев, ответила она, – никогда. Но я только хорошо знаю, что они холодные и всегда мягкие, и прикосновение к ним бывает очень неприятно. – По-моему, они очень приятные, и их за границей уважают и даже едят, – улыбаясь я ответил ей. – Едят! – удивилась она. – Ну, это ты уже, братец, врёшь, ей-богу, врёшь! – и неожиданно для меня наклонилась

ко мне и шёпотом спросила: – А верно, как говорят, что твою маму убил он, а тебя, чтобы ты не разболтал, отправил в город и отдал в магазин в мальчики? – От её слов я дёрнулся назад, больно ударился головой о стену. – Кто это тебе, Танюша, сказал. А? Это ложь! Этому ты никогда не верь! – И, дрожа всем телом, встал из-за стола, пошатываясь, вышел из дому и весь остаток дня пробродил в саду, около мельницы. Через два месяца я ушёл из родного дома, сказав отцу очень мягко и вежливо: – Противно мне жить у тебя. – На это он ничего не ответил и только предложил получить за два месяца жалованье. Я ещё более грубо сказал: – Не надо. Оставь на неугасимое масло и на свечи по несвоевременно погибшей моей матери. – Он, получив такой ответ от непокорного сына, побагровел и, яростно потрясая кулаками, бросился за мной: – Прокляну! Как ты смел, щенок, сказать мне это? Как ты смел? – Воля твоя, – ответил я и вышел из дома. Потом я уехал в уездный город и там снова стал работать среди рабочих железнодорожной мастерской, организовал ячейку большевиков; после Октябрьской революции добровольно пошёл на фронт и с этого самого дня не был в родном селе и ни разу не видал своего отца... Вот и вся характеристика отца моего и отца моей сестры Тани. К этой характеристике я больше ничего не могу прибавить.

Тут друг мой замолчал, очень внимательно посмотрел на меня и громко спросил:

– Мало?

– Про Таню очень мало, – согласился я. – Мне надо узнать про Таню, как она ушла от отца и вступила в комсомол.

– Это ты подробно узнаешь из её писем, – возразил он, – и из записок.

– Этого в её письмах нет.

Он тяжело вздохнул и полез в карман, достал оттуда несколько писем, протянул руку и, помахивая пачкой писем над столом и перед моим носом, проговорил:

– Остальное узнаешь вот отсюда.

Глава четвёртая. Письма

Как трудно и тяжело читать чужие письма, в особенности человека, который пережил необыкновенную историю, который, шумно хлопнув дверью, прокричал пронзительно нам в лицо и навсегда ушёл от нас в неизвестные края, в недоступные для нашего пытливого глаза.

Когда я читаю неизвестного человека письма, то мне всегда до необычайности кажется, что я стою перед его дверью и никак не могу открыть её, войти в комнату, чтобы сразу окинуть взглядом человека и то, со всеми прелестями гнездо, в котором он жил и живет до настоящего времени, а стою около двери, робко и пытливо заглядываю в замочную скважину, в которой едва улавливаю, едва осязаю человека, да и то только его отдельные части тела, некоторые предметы обстановки, обыкновенно пустые, порой даже нелепые безделушки, которыми он окружал себя, возможно, не он лично окружал себя этими предметами-безделушками, а окружали его посторонние люди, близкие благодетели, а он только покорно соглашался, привыкал и жил до определённой поры, до определённого предела в этой обстановке.

Но, несмотря на такое суждение, что по письмам трудно познать всего человека полностью – его внутренний мир, всю ту обстановку, в которой он родился, воспитывался и жил до положенного возраста, из которой он вырвался и ушёл навсегда, – я всё же решился воспользоваться письмами, каковые так любезно передал мне брат моей героини, и целиком поместить их в сей главе.

Решил я сделать это для того, чтобы не только один автор постоял перед дверью героини повести, а вместе с ним постояли бы читатели и так же, как и автор, заглянули бы в замочную скважину на небольшой период жизни Тани, на обстановку, которая окружала её, – правда, одну часть этой обстановки читатель знает из рассказа её брата, приведённого выше, в третьей главе.

Вот что она писала на фронт своему брату:

«Дорогой Коля, крепко целую тебя и от всего сердца желаю здоровья. Я очень рада за тебя, что ты не живёшь дома, не видишь отца, домашней обстановки, а на фронте, и тебе хорошо. Как я рада за тебя! Я очень желаю тебе успеха в разгроме белогвардейцев. Если бы было можно, то я приехала бы к тебе на фронт и стала бы тебе помогать. Напиши: может быть можно приехать? Я всё равно не могу жить дома и наверно скоро сбегу, а куда – и сама ещё не знаю. Теперь опишу тебе, что у нас в доме делается, а также и на селе. В доме у нас всё перевернулось кверху дном, решительно всё. Даже не только дом, но мебель и все безделушки. А случилось такое событие неожиданно и рано утром 3 ноября. В это утро отец проспал (ты знаешь, этого с ним никогда не случалось: он всегда вставал до солнца) и пожаловался, что видел жуткий сон: будто его пополам перепилили поперечной пилой. И только за чаем успокоился. Бабушка тоже видела нехороший сон, но рассказывать не стала, а ушла к себе в комнату молиться Богу. Чай пил отец тоже плохо: всего три стакана, и полотенце не брал на колени, хотя оно и было мамой положено на стол и как раз против него, как всегда. Напившись чаю, он долго молился перед божницей, во время молитвы часто вздыхал, поглядывал на Николая-чудотворца, так что мне было очень смешно, и, если бы не угроза мамы, я наверно бы расхохоталась. После молитвы отец вышел из дома, а через несколько минут в дом вбежал наш работник Аким и, не снимая шапки (он никогда так не входил в дом, чтобы не снять шапку), равнодушно сказал, как будто ничего особенного не произошло: – С самим что-то приключилось. – И вышел обратно из дома (он тоже никогда не называл отца „самим“, а всегда величал его по имени и отчеству, а тут „с самим“, да и перед мамой всегда был почтителен и тоже величал полностью). Мама, бабушка (братья ещё спали) выбежали из дому на улицу и бегом через дорогу к лавке, возле которой уже стояла толпа мужиков, которые, когда мы подбежали к лавке, расступились и дали нам дорогу к отцу. Он лежал на земле, стонал и всё

время хватался пальцами за землю, как будто желал её захватить в пальцы и так сжать, чтобы она никому не досталась, а только ему одному. Увидав его, мама и бабушка страшно заголосили, а мне было ни чуточки его не жаль, и плакать совершенно не хотелось. Лишь только было неприятно на него смотреть: он, ползая по земле, походил на большую рыжую лягушку и всё время, показывая жёлтые зубы, открывал жадно рот, пучил на мужиков мутные глаза, хрипел что-то непонятное. – За что вы его? – закричала иступленно бабушка и стала на колени перед сыном. – За что? Что он вам сделал плохого? – Мужики, стоявшие всё время хмуро и молчаливо, от слов бабушки всколыхнулись, загалдели: – Ты что, старая, зяпаешь понапрасну. Скажи, кто его трогал? Никто. – А один мужик, рыжий Вавила, у которого отец скупил всё – и надел, и поместье – подошёл к бабушке, передразнил её, скорчив страшно рожу: – Что он вам сделал плохого? Подумаешь! А ты, старая ведьма, нам скажи, много ли он хорошего-то сделал? С меня он, твой сынок-то, вот крест снял, а с других не одну шкуру спустил. А ты – что он сделал плохого? Удавить его надо было бы, такого дьявола. Да, к счастью, кондрашка хватил, не допустил нас до этого греха. – Убили! Убили! – визжала бабушка, призывая кого-то на помощь. Мама только охала как наседка, растерявшая своих цыплят, вертелась между мужиков и упрашивала их перенести отца в дом. Бабушка всё визжала: – Убили! Убили! – К ней подошёл работник Аким, взял её за плечо, нагнулся, положил рот почти на самое её ухо и нарочно громко заорал: – Вот кто его, бабушка, убил-то! – и показал рукой на раствор лавки, на котором белел большой лист бумаги. Бабушка вскинула голову: – Кто? Где он? – и, остро вглядываясь вперёд, побежала к раствору, а когда подошла, снова завертелась: – Кто? Где он? – и только тогда она остановилась, когда Аким показал ей на декрет и ткнул в него пальцем, да так, что даже прорвал ногтем. За то, что он прорвал декрет, мужики его чуть-чуть не избили, да он и сам страшно перепугался и бросился его перед глазами бабушки разглаживать. А бабушка тарасила на декрет глаза, приговаривала, ничего не понимая. Даже не поняла и тогда, когда ей громко прочитал Аким. А прочитал он ей „Декрет о земле“. – Грабители! Разбойники! – кричала бабушка и побежала за отцом, которого понесли в дом. А когда отца унесли в дом, рыжий мужик Вавила подморгнул мужикам, показал хитрыми, похожими на снятое молоко, глазами на бабушку, которая была к нему спиной, и проговорил: – Всё поняла! Ишь, орёт, чертовка: ограбили, ограбили!

Ограбишь тебя. Мы ещё не начинали грабить-то, а твой сынок двадцать лет грабил, но мы не орали так, как ты, старая карга! – Мужики громко смеялись, а Вавила, размахивая руками, кричал: – Мы хорошо знали, что всей России скоро будет переэкзаменовка, а она ещё хрундубачит...

Долго галдели мужики около дома, а когда они разошлись, я тоже прочла декрет о земле и хорошо его поняла, также поняла, что скупленную отцом у бедных мужиков землю отберут мужики обратно, особенно хутор. Отца никто из мужиков не трогал, на него подействовал очень сильно декрет, так что, когда он на него взглянул и стал было читать, у него хрястнула поясница, и он повалился на землю (об этом он опосля рассказывал сам маме, и ещё об этом говорил мне работник Аким, который прочёл декрет раньше и показал отцу). Оказывается, что сон отца был в руку. Теперь ждём исполнения сна бабушки: её сон, как я уже сказала выше, был страшнее. Через две недели после случая с отцом отобрали у нас хутор, землю на селе и ещё наложили контрибуцию в двадцать тысяч, но отец отказывается платить и страшно ругается... Поясница у отца ещё не поджила, и он всё время лежит в постели. Книги твои разыскала и прочла. Учиться в этом году отец не разрешает: теперь, говорит он, не гимназия, а вертеп, – это он мне так сказал, а матери, когда она вздумала было просить его за меня, сказал ещё хуже и назвал гимназию публичным домом... В понедельник на этой неделе разгромили винокуренные заводы Писарева и Ширяева. Одного спирту разделили по семь ведер на двор. Мужики ходят по селу весёлыми, с песнями, христосуются друг с другом. Пьют за здоровье Ленина и большевиков. Акиму тоже досталось семь ведер. Для спирту он взял у нас стеклянные бутылки,

наполнил их (вот глупый-то!) и поставил в сенцах около стены, накрыл старым армяком, чтобы не украли, и хотел спекульнуть, а на вырученные деньги купить лошадёнку. Но в сенцы забрела чья-то пёстрая свинья, подрыла землю, переколотила своим пяточком бутылки, разлила спирт и, как говорят мужики, напилась пьяной и заночевала у него в сенях... Сколько было смеху! Я тоже, когда мне рассказывали, много смеялась. Только Аким ходит злым и ни с кем не разговаривает, даже со мной не хочет говорить... Ещё тебе сообщу по секрету: мама и бабушка по ночам таскают из лавки товар и прячут – боятся, что мужики отберут. Как они стали мне за это противны! Ещё скажу тебе по секрету: у нас в селе организуется комитет бедноты, и меня приглашают читать книги и газеты... Ты не знаешь, Коля, как мне хочется быть взрослой».

На этом кончается первое письмо. А ровно через десять месяцев она писала брату следующее:

– «Ненаглядный братец Коля, целую тебя несчётно раз и от всего сердца желаю тебе как можно больше здоровья. Сообщаю тебе, что в доме у нас всё идёт по-старому. У отца поясница стала лучше, и он стал ходить и даже за последние дни изволил шутить с матерью и со мной, а вчера за обедом так расхохотался, что я даже удивилась такой в нём перемене. Но к вечеру настроение отца разгадала: он, мерзавец, рыжая лягушка, – я теперь всё время его зову лягушкой, – радуется неудачам Красной Армии и скорому приходу белых генералов. Свою радость он при мне передал матери: – Не тужи, Ольга, скоро заживём с тобой опять по-хорошему. И поясница тогда у меня перестанет окончательно болеть. – Впрочем, такая перемена происходит не с одним отцом, а со многими богатыми и зажиточными мужиками. Недавно у твоего деда было собрание богатеев (отец не ходил), и на этом собрании они вынесли постановление: приветствовать приближение генерала Мамонтова и преподнести ему хлеб-соль, как давножданному освободителю от ига большевиков... Выбрали твоего деда и какого-то Наумова, мужика из другой деревни. Выборные пропадали дня четыре, вернулись поздно ночью мрачными, расстроенными, и только на другой день после приезда сообщили, что белые ведут себя ещё более неприлично, чем красные, – грабят всё, что попадает под руку, обижают девок и женщин. Такое сообщение обескуражило мужиков, и они решили, что большевистская власть лучше, за неё надо держаться пока... Три дня тому назад, как сообщил мне Аким (он теперь председатель комбеда), разъезд белых был в пятнадцати верстах от нашего села и так напугал местную власть, что председатель волостного совета, большевик Романов, достал из сундука жены крест, надел его на себя, подмазал пятки и прямо на Москву, и ежели бы комбед и ячейка большевиков не остановили его, он, наверно, удрал бы, и едва ли бы его так скоро отыскали. Сейчас комбед и ячейка вооружены и стоят на страже... Завтра несколько человек из комбеда добровольно уходят на фронт. Кажется, с ними уходит и Аким. Для проводов у твоего деда реквизировали овцу. Дед твой страшно возмутился, ворвался в избу Акима, стал ругаться матерно и требовать овцу обратно, а когда ему не вернули, он написал заявление. Это заявление я читала, так как я состою у Акима тайным секретарём, передаю его тебе. Вот оно: – Взятую комбедом у меня со двора овцу прошу вернуть обратно, ибо она суягна, а ежели нельзя вернуть, то прошу заменить несуюгной. – Аким на заявление твоего деда положил очень мудрую резолюцию: – Никакх... – (далее такое слово, что я тебе написать его не могу). Дед твой схватил это заявление и на другой день поскакал жаловаться в город, чем очень сильно напугал Акима. Через неделю вызвали Акима в город, но всё прошло хорошо, – в уезде над Акимом только посмеялись, и он вернулся очень довольным. А овцу деда твоего так и съели. Овца оказалась совсем не суягной: дед твой соврал. Нынче комбедчиков сорок человек ушло добровольно на фронт. Уходили с „Интернационалом“ и радостно. На дороге отобрали у богатеев ещё несколько штук овец, а у отца – борова, пудов на восемь. У отца ужасно разболелась поясница (но я глубоко уверена, что поясница разболелась у него не от борова, а от того, что белых разгромили, и от „Интернационала“ комбедчиков), он снова свалился в постель и стонет на весь дом... Живя в деревне, я так изучила мужиков, что хорошо по их настроению угады-

ваю, что делается на фронтах: ежели у моего отца не болит поясница и на лице просачивается улыбка – на фронте большевикам скверно, а ежели у отца болит поясница и на лице хмурь – на фронте большевикам хорошо, бьют белых. Лицо комбедчика Акима говорит обратное, и тоже верно, – одним словом, что крестьянин в полосе гражданской войны может служить хорошим барометром, благодаря которому и без газет можно вполне хорошо узнавать политическую погоду... как я рада, что Аким остался (его едва удержали товарищи, чтобы он не уходил на фронт, а остался в селе и продолжал бы всё так же работать, как и до этого, и он остался). Я чуть его не расцеловала за это... Как ты счастлив, что ты на фронте! Да (чуть не позабыла), утром приезжал мой крёстный отец из деревни Давыдово, пил у нас чай, за чаем рассказал очень безобразную историю (это по его мнению, а по-моему, очень хорошую, слушая эту историю, от всей души хохотала, за что мне здорово влетело от матери) о том, как над ним издевался в течение года его сосед-бобыль, пока не довёл его вот до этого состояния – до одной лошади и коровёнки.

Вот что он рассказал за чаем:

– Ты знаешь, кум, как я жил до революции? Конечно, знаешь: я имел тройку хороших лошадей, пару коров, штук сорок овец, пары три свиней.

Ну, об этом тебе нечего говорить: тебе хорошо известно было моё хозяйство. Но как, кум, пришла революция, так всё перевернулось кверху дном, но этого мало, что перевернули кверху дном, всю душу вытрясли и сделали её дырявой, как решето. А кто сделал-то, а? Ты думаешь, кум, сделали на людей похожие, а?. Нисколько. Сволочь какая-то, вроде твоего бывшего работника Акима. А теперь попробуй, подойди ты к этому он тебе покажет кузькину мать. Да что тебе, кум, говорить-то – ты его хорошо знаешь. – Отец не возражал крёстному, а только охал, сопел, да всё время растирал поясницу. А крестный всё больше и больше горячился (попади крёстному сейчас сосед – горло переест и кровь до капельки высосет): – Только выйду я из дому на улицу, и сосед из своей закуты тоже на улицу и стоит против меня, подкашливает, а когда прокашляется, повернёт ко мне рябую свою рожу и начнёт осклабляться: – Дядя Степан, а, дядя Степан, как весна-то ноне, хорошая будет? – Меня так всего и подмоет. Ну, думаю, сволочь, к чему-нибудь подъехать, подобраться норовит, но всю злобу – так вот и зарезал бы его – скрываю и тоже улыбаюсь: – Да, Господь её знает, должна бы быть хорошей, Василь Андроныч. – Тут отец захрипел, затряс бородой. – Ишь ты, кум, как его величаешь. Хе-хе. Это будет не тот самый Васька Коульбарс, который жил у помещика Ширяева телохранителем ещё в пятом году? – Крёстный радостно встрепенулся: – Так ты его знаешь? Он самый, сволочь! Здоровый верзила, носастый и с золотухой на шее, благодаря этой золотухи-то и на войну не пошёл, а то, всё может быть, там и остался бы... – Хе-хе, – скрипел отец и тряс рыжей бородой, – он в пятом году чуть барина, Николая Петровича, в могилу не вогнал, еле отлежался. Он, этот Васька-то, телохранителем служил у него и всюду его сопровождал. Едут они раз через вершину Суков, барин-то в откидной коляске, а Васька-то в седле за ним следом; видят, навстречу два волосатых студента идут и в руках свёртки держат. При виде этих студентов-то у Николая Петровича вся душа затряслась: подкатят, думает, один свёрточек под коляску и кончено всё¹⁵. Но ничего не сделали, а только очень внимательно посмотрели на барина и коляску пропустили, а Ваську остановили и, было, повели с ним такую речь: – А ну-ка скажи, любезный, какого будет режима твой барин?.. – А он, как услышал „режима“, как дёрнет лошадь и пошёл за барином, а когда нагнал коляску, барин-то у него и спроси: – Что они с тобой, Василий, говорили? А он вместо того, чтобы сказать, что спрашивали: „какого режима“, бухнул: – Резать велели, ваша милость. – Тут барин не выдержал и так ахнул, что от страху

¹⁵ 1 марта 1881 г. членами «Народной воли» был смертельно ранен император Александр II. Для осуществления террористического акта была использована бомба. После этого образ «студента» с «бомбой» занял прочное место в российском общественном мнении.

случилось с ним страшно неудобное и его всего мокрого и вонючего привезли домой... А кучер коренную лошадь загнал насмерть. Вот какой он был прохвост. Хе-хе. – Это он нарочно переврал, – отставляя в сторону стакан, сказал крёстный и многозначительно добавил: – Сволочь! – (Сейчас крёстный был очень похож на Николая-угодника, и лысина у него блестела от капель пота.) – Теперь воля у них: что хотят, и делают, – хватаясь за поясницу, простонал отец. – Что же он с тобой сделал? – Крёстный стал передавать дальше: – Что сделал? Стоит и издевается, мерзавец: – Скоро, наверное, сеять будете, дядя Степан? Семян, наверно, у вас много. – А то: – А жеребец у тебя, дядя Степан, хорош, я всё время на него с радостью смотрю. – Как он это скажет, так у меня всё сердце оторвётся и ноги подкосятся; ну, думаю, деловито, сволочь, подъезжает, прямо к жеребцу метит, уведёт, как Бог свят, уведёт. И увёл, – правда, не он, а его же комбед: он председателем был этого сборища. А я ли ему не угождал, – скрепя сердце, угождал! Как он только бывало скажет: – Дядя Степан, жеребец хорош, – так я ему, чтобы угодить, чтобы он, мерзавец, не мучил меня, немедленно приказываю снохе или сыну отнести пуд мучицы, пшена или картошки, а то и свининки... – Отец снова захрипел: – Уважал; значит, чтоб к жеребцу не подъехал. Хе-хе. А он и на уважение наплевал, нахаркал, можно сказать. Хе-хе... – А крёстный продолжал: – А он, Васька-то, как слопаёт чужое-то, так снова: – Дядя Степан, а дядя Степан, уж больно у тебя жеребец хорош. – Так, мерзавец, до самой весны и промучил, а потом и отобрал к пахоте, а с ним и кобылу: жеребца отдал солдатке, а кобылу – вдове. Да-а, чуть не помер я с досады, свет мне не мил, руки хотел наложить на себя. Увидел я его и говорю: – Зачем ты меня, Василь Андронович, ограбил, крест снял, по миру пустил. А? Грех тебе будет. Я ли тебя не кормил всю эту зиму! А? – А он стоит и нахально рябую рожу свою улыбкой маслит, а бельма свои непутёвые на небо, на облачка лупит. – Насчет греха, говорит, мы маленько обождём, а насчёт твоего упрёка, что ты меня зиму кормил, я тебе, дядя Степан, отвечу: зря это ты говоришь. Я ведь у тебя ничего не просил, а ты сам таскал. – Тут уж я не выдержал: – Да ты бы с голоду окошел, как червь дождевой, ежели бы не я. – А он: – Значит, дядя Степан, тебе было жалко меня? – Я плюнул на его слова и ушёл к себе в дом. Так он меня промучил до самой весны и перетряс всю мою душу, все косточки перемял. Показаться из дому не давал, мерзавец. Бывало, как только увидит меня, так и скривит рябую свою рожу: – Дядя Степан, корова у тебя не холмогорской породы? – А когда жеребца свели со двора, он на другое закинул удочку: – Дядя Степан, жнейка у тебя уж больно хороша. – И так без конца. А вот недавно последнюю штуку выкинул: стою это у дома-то и дно у бочки кугой подконопачиваю – текла уж больно – и так увлёкся работой, что даже не заметил, как со двора вышла поросная свинья, а он, Васька-то, заметил и кричит мне из своей избы-то: – Дядя Степан, да у тебя свинья есть? – Как он это сказал, так у меня и ноги отнялись: ну, думаю, теперь всё пропало, вот тебе и дождался поросятка.

– У меня тоже борова пудов на восемь съели, – вставил отец, – и даже попробовать не дали. – Тут крёстный глубоко вздохнул, разгладил бороду и сердито взглянул на отца. – А ты думаешь, мне-то дали? Даже потрохом не попользовался. И как это он, мерзавец, мне сказал, что у меня свинья есть, так я и решил её в эту ночь зарезать и спрятать. Я так и сделал; ночью, как только все заснули, я её зарезал и на дворе же опалил, мясо разрубил, посолил и вместе с кадушкой спрятал в яму на огороде, недалеко от риги, чтобы не нашли комбедчики. Утром, только что я вышел из дому, а он уже, мерзавец, прохаживается около моего двора и толстым своим носом по воздуху водит: – Дядя Степан, ты чувствуешь, как свежиной пахнет? – Тут уж я не выдержал, – бояться мне было больше нечего – рубашку одну на плечах оставили, – как зяпну на него: – Ты что, голь перекатная, свежинки захотел. А? – А он стоит и зубы из рябого месива скалит, а я ему: – Али кровушки? На, пей! – А он: – Не откажемся. Вы нашей попили, а теперь мы попьём. – А сам мимо меня на гумно глаза пялит, это за ригу-то. Я тоже туда глазами, а там, – батюшки! – вороньё вьётся и как раз над самой свининой, да с криком взовьются выше риги, и оттуда кубарью и с игрой, поблескивая крыльями, ударятся в землю,

как раз в то самое место, куда я зарыл свинину, и опять кверху, так что пыль от земли поднимается. Ну, думаю, пропала моя свинина. И только я так подумал, Василий повернул ко мне рожу и оскалил зубы: – Дядя Степан, не к пожару ли вороньё так разыгралось? – К засухе, – ответил я и поспешил в дом, чтобы выслать сынишку разогнать вороньё, да так, чтобы это было незаметно, а вроде прогулки или какой-нибудь игры, а сам стал посматривать из окна. Вижу, что мальчишка не справляется с вороньём: только он прогонит и вернётся к риге, а оно, вороньё-то, опять на этом месте, и так измучило его, что он потерял всякую осторожность, стал бегать за ним и кричать, словно на кур: „шшэ! шшэ!“ Так что я вернул его обратно и не велел больше ходить на огород: уж больно наглядно. А на другой день за ригой, над огородом, не кружилось вороньё. Я взвалил на плечи кошёлку, отправился в ригу за кормом, взглянул на огород, как раз на то самое место, под которым должна была находиться кадушка со свининой, и обомлел: вместо ровного места я увидел раскрытую яму и без свинины... – Это он украл, – сказал отец и крикнул на меня: – ты что, Танюшка, хохочешь? Пошла вон. – А мать схватила меня за рукав, вывела в другую комнату и за то, что не умею себя держать прилично и веду себя хуже самой последней девчонки, прочитала мне целое наставление.

Милый Коленька, я, наверно, тебе надоела своим глупым письмом, в особенности рассказом крёстного. Я знаю, в этом письме рассказ так хорошо не получился, ежели бы ты сам послушал крёстного, то ты умер бы от смеха, ей-богу, правда. Он так хорошо рассказывал, что лопнуть можно было. А какую он строил во время рассказа рожу – жутко сказать. Даже мама всё время кусала губу, чтобы не расхохотаться. Таких историй у нас в селе сколько угодно. Ну, довольно об этом. В доме у нас ничего: словно в воду опущены. Только я себя чувствую хорошо, много читаю. Отец контрибуцию не заплатил, хотя его держали в тёмной четыре дня и кормили селедкой... Говорят, что твоим именем спекульнул: – Сын у меня большевик и дерётся за вас на фронте, а вы отца его разоряете. – Аким мне тоже про это рассказывал и добавлял: – Благодаря Николаю отпустили, а то бы он посидел в подвале, развязал бы мошну – Вот пока и всё. Пиши как можно почаще. Я уж чувствую себя взрослой. А на селе меня называют дылдой. Погода у нас стоит хорошая, дни золотые, яблок в садах очень много, в особенности, ты даже себе представить не можешь, как хороша антоновка: крупная, налитая, жёлтая. По ночам всегда луна и всегда, когда только ни выйди, всё с правой стороны, и тоже большая и жёлтая, а главное – похожа на спелую сочную антоновку, так бы с жадностью и проглотила её – ам, и конец. Ну, пиши. Пиши. Твоя любимая Танька».

А через полтора года она писала следующее: «Милый Коленька, я очень и очень рада, что получил за боевое отличие на фронте второй орден Красного Знамени. О, как бы я желала быть на твоём месте. А впрочем, мне и в селе хорошо: организовала комсомол, и работы по горло. В комсомол вошли ребята хорошие, дети бедняков, правда, иногда, хулиганят немного, но это ничего. Недавно такую выкинули историю, что я да ахнула, и меня крестьяне чуть вместе с ними не выпороли. Ты хорошо знаешь, что в деревню ситцу не дают, и наши мужики решили „текстиль“ свой организовать и организовали: вынесли резолюцию, в которой указали, чтобы лён, отобранный у помещиков Ширяева и Писарева, разделить на каждую женщину и девушку по столько-то фунтов. Бабы этот лён пряли целую зиму, закончили прясть только великим постом, замыли и вывесили пряжу на мороз. Ночью эту пряжу-то ребята взяли и опутали ею всё село, да так, что пройти было невозможно, чтоб не запутаться в нитках. Кто смеялся на такое озорство, но нам было не до смеху, в особенности мне. Меня, а со мной и весь комсомол, призвали на собрание и хорошую нам прописали резолюцию: кроме меня, всех до одного высекли розгами. Меня, наверно, тоже бы высекли, так как мужики были яростно настроены и страшно злы и всё время грозили: – Задрать ей юбочку-то! – Но Аким и Вавила набросились на мужиков и меня отстояли. Так с „текстилем“ ничего и не вышло, кроме смеха. Теперь мужиков нашего села окончательно засмеяли мужики других деревень: – Ну, как у вас работает текстиль-то? – Да и комсомольцам влетает здорово. Слух о порке комсомола дошёл до губкома

партии, приезжали расследовать, но так как в этом контрреволюции не нашли, то дело замяли. Свободного времени очень мало, работы по горло, так что на читку газет и книг не хватает времени. В Лаврове было недавно кулацкое восстание¹⁶, было растерзано несколько коммунистов, девять комсомольцев. В это село были вызваны красноармейцы и расстреляли восемьдесят кулаков, десять попов и одного помещика, бывшего земского начальника. Этот земский начальник был у них главным. Завтра я должна выехать в это село и вновь организовать молодёжь, а поэтому ты меня извини, что я пишу тебе так сухо и скучно – некогда, каждая минута дорога. Эх, если бы ты, Коленька, посмотрел на свою сестрёнку сейчас, то ты её ни за что бы не узнал, ни за что... Она настолько выросла, что посторонние дают ей не пятнадцать лет, а восемнадцать... Да-а, я забыла тебе написать-то, что с отцом у меня всё кончено. Он, когда узнал, что я работала в комбедде вместе с Акимом, призвал меня к себе и стал было грозить, Даже хотел избить, но я ему показала фигу и наотрез отказалась подчиниться. Тогда он так рассвирепел, что приказал мне немедленно выметаться из дома: – Чтоб духа твоего, мерзавка, в моём доме не было! Вон! Прокляну! – Мать и бабушка, – она всё ещё себя крепкой чувствует и бежит очень быстро, – бросились в слёзы, и к отцу, а я, как мотылёк, сцапала свои вещи, приготовленные мною заранее, подпрыгнула – и до свидания, будьте здоровы, папенька. Это дело разыгралось поздно вечером, и на улице, когда я выпорхнула из дома на крыльцо, была большая круглая луна и была она опять с правой стороны. Я, взглянув на эту луну, вспомнила слова бабушки: – Ежели, внучка, луна светит с правой стороны, то обязательно к счастью.

– К счастью! К счастью! – закричала я и бегом бросилась с крыльца в школу. Ведь не даром же два с половиной года тому назад, когда у нашего отца хряснула поясница, Вавила очень хорошо высказался: – Мы давно знали, что всей России будет переэкзаменовка. – Теперь будет, милый Коленька. Умоляю тебя, не смейся надо мной, что я так хорошо пишу и даже, как ты утверждаешь в своём письме, могу сочинять... Прощай. Желаю тебе ещё отличиться, даже желаю получить золотое оружие это, по-моему, зря дают. А в следующем письме поздравь меня со свободой. Твоя голубоглазая и озорная сестрёнка. Ура! Ура! Прости, чуть не позабыла: губком прислал мне извещение, что командирует меня в Москву учиться. Как я рада! Как только получишь и прочтёшь мое это письмо, то прокричи за меня несколько раз „ура“. Нынче, Коленька, тоже луна была с правой стороны, и была она необычайно большая и жёлтая. Твоя Танечка».

¹⁶ Имеются в виду события Тамбовского крестьянского восстания 1920-1921 гг., которое охватило в том числе село Лаврово.

Глава пятая. Разговор

– Редкостная девушка, – кладя бережно письма под коленкоровую крышку дневника, сказал я. – Неужели, когда она писала эти письма, ей было пятнадцать лет?

Николай во время моего чтения писем сидел с опущенной головой, смотрел на свои тонкие, необыкновенно длинные пальцы, осыпанные редкими конопушками и нежным золотистым волосом. На мой вопрос он быстро вскинул огромную сизую голову, взглянул на меня круглыми медными глазами. Его взгляд на этот раз показался мне тяжёлым, неприятным, так что я, чтобы не смотреть ему в глаза, склонив голову, стал смотреть на дно стакана, в котором было немного чая, и плавала вертикально, почти стоя, большая чайника. Молчание длилось недолго.

– Да, – проговорил Николай и опустил голову – Если бы её не затравили, если бы она так трагично не ушла из жизни, из неё вышел бы недюжинный человек. Я глубоко сожалею, что она уехала из села и попала в такую отвратительную среду...

– Позволь, – перебил я его возмущённо, – это в какую же отвратительную среду? Это ты всю нашу молодёжь считаешь отвратительной средой? А также и всё наше студенчество?

Николай взмахнул тонкой рукой, дёрнулся всем своим чахлым туловищем, словно хотел вырваться из-под тяжести собственной головы.

– При чём тут «вся молодёжь» и «всё студенчество». Я говорю не вся и не всё, а я говорю об отдельных группах, об отдельных личностях.

– Но у тебя, Николай, так выходит, что ты всё хорошее валишь на дурное. Я всё же думаю, что мы в оценке нашей молодежи здорово перегибаем палку, а ты её совершенно перегнул.

– Нисколько, – воскликнул Николай, – я, возможно, похуже тебя знаю молодежь, но всё же знаю её.

– Ну это ещё не всё, – возразил я, – что тебе приходилось жить в студенческой среде.

Николай быстро вскочил с дивана и, опираясь на стол тонкими руками, раскачивая медленно сизой головой, с маленькими и плотно приплюснутыми ушами, наклонился ко мне и удивлённо спросил:

– Это как так не всё? По-твоему, жить в среде молодежи ещё не всё? По-моему, это всё.

– Но мы, Николай, совершенно ушли от нашего разговора к другому вопросу. Я думаю, что мы должны ближе подойти к твоей сестре, разобраться в столь неожиданном и достойном порицания поступке. Я думаю, что человек-общественник не имеет никакого права уходить самовольно из нашей жизни, так как он не принадлежит себе, а обществу, для которого он обязан жить.

Николай глухо рассмеялся и, не торопясь, вышел из-за стола, заходил по комнате:

– Всё это, милый мой, пустые рассуждения, давно всем известные. Слушая тебя, мне становится совершенно ясно...

– Что?

Николай остановился против меня.

– Что ты никогда не испытал переплёта жизни, – воскликнул он, – что ты никогда не был сдавлен так, как была сдавлена моя сестра, а поэтому ты так легко, так банально рассуждаешь об её уходе. Ты думаешь, что я оправдываю её самовольный уход? Ты думаешь, что и обвиняю её уход из нашей жизни? Нисколько. Я просто сожалею её, как сильного, недюжинного человека, который, несмотря на свои молодые годы, принёс для партии больше пользы, чем я и многие другие. Раньше, чем говорить о сестре моей... Да стоит ли о ней говорить, когда я передал тебе богатейший материал её личной жизни. Из этого материала ты увидишь все стороны её жизни – хорошие и дурные, все поступки её, а также и других типов, которые окружали её, втянули в пропасть, опутали колючей и липкой травой-дерябкой, – эта трава больше

всего растёт на огородах в нашей местности, размножается ужасно быстро, душил собой всё посеянное и другие травы. Вот и среди нашей молодежи есть трава-дерябка, зелёная и липкая, похожая на плесень. Вот эта самая дерябка не только растёт вместе с нашей молодежью, но и задаёт иногда тон, поднимается иногда на высоту, старается с этой высоты командовать и руководить...

– Позволь, ты опять...

– Стой! Стой! – грубо оборвал он меня. – Это верно. В дневнике своём сестра подробно писала о том, как она приехала в Москву, как она поступила в Свердловский университет, как она училась, как она отдавала всё своё свободное время на организацию молодёжи... Да, я очень сожалею, что она не вела дневника в первые годы... Но я тебе могу сказать, что у сестры до самого последнего дня её жизни остались самые лучшие воспоминания о работе с деревенской молодёжью, в особенности с фабрично-заводской. Она часто мне говорила – впрочем, об этом есть в её записках: – Николай, прошу тебя никогда не смешивать детей ответственных работников, детей советских служащих, а больше всего подозрительную молодёжь, приехавшую с окраин, с молодёжью от станка, с настоящей рабочей молодёжью. – И она была права. Ну разве ты не видишь, сколько у нас в университетах мещан, ничего не имеющих общего с рабочим классом, абсолютно чуждых ему? Ну скажи, разве тебе не показала наглядно партийная дискуссия с Троцким? Разве тебе не было видно, кто пошёл за ним во время этой пресловутой дискуссии? Пошла ли за ним фабрично-заводская молодёжь? Не пошла. Пошли за ним студенты, бывшие рабочие, взятые недавно от станка? Не пошли¹⁷.

– Это неверно, – возмутился я. – Ты и тут перегибаешь палку. За ним идут и некоторые рабочие и некоторая часть молодёжи.

– Нет, это верно. За Троцким пошла как раз та молодёжь, что нахлынула из окраин, из мещанских семей. А что касается некоторых рабочих и некоторой части здоровой молодёжи, то это ещё ничего не говорит в твою пользу. Ну, разве мы не знаем, что есть некоторые рабочие, которые идут за меньшевиками? Знаем. А всё это объясняется, милый мой, очень просто...

– Чем?

– Отсталостью, слабостью своего классового сознания, экономическим положением, благодаря чему демагогические лозунги находят почву в более отсталых, в более ноющих рабочих группах...

– И твоя сестра не из рабочей семьи, – резко бросил я, – но это не мешало, как ты говоришь, быть ей выдержанной.

Николай как-то сразу осунулся, и его чахлое туловище под могучей сизой головой зашаталось из стороны в сторону, а медные глаза ещё больше расширились, заблестели. Он, пошатываясь, прошёл на диван, шумно повалился на него, положил руки на колени и стал рассматривать свои тонкие, с редкими крапинками конопушек и необычайно длинные прозрачные пальцы. В таком положении он пробыл несколько минут, заговорил только тогда, когда я ему сказал, что совершенно не собирался сейчас обидеть его сестру, а также и его своими неудачными словами, что «и твоя сестра вышла не из рабочей семьи». На это он, не поднимая головы и не отрывая глаз от своих пальцев, холодно проговорил:

¹⁷ Внутрипартийная дискуссия ноября 1923 – января 1924 гг. была частью политической борьбы, развернувшейся в партии, в первую очередь, по вопросу о демократизации внутрипартийного режима. Л. Д. Троцкий был наиболее авторитетным лидером оппозиционной группировки, объединившейся против фракции И. В. Сталина, Г. Е. Зиновьева и др. Статья Троцкого «Новый курс» была расценена партийным руководством как попытка опереться на учащуюся «молодежь» и противопоставить ее «старикам» партии. В Москве студенты многочисленных ВУЗов, многие из которых были ветеранами Гражданской войны, действительно оказали наибольшую поддержку оппозиции, хотя и не всегда персонально Троцкому. В ответ сторонники большинства ЦК РКП(б) заявили, что оппозицию поддерживают только «мелкобуржуазные элементы», хотя, согласно архивным данным, для этого у них не было фактических данных. Удельный вес оппозиционеров в партии был невысоким, но данные по Москве демонстрируют значительный процент поддержки со стороны рабочих, служащих и военных организаций.

– Возможно, что ты и прав, оспаривать тебя не буду. Я вовсе не собирался доказывать и утверждать, что среди молодёжи, пришедшей из окраин, из мещанских семей, не найдётся ни одного стойкого члена партии. Если бы я стал это утверждать, то я был бы глубоко не прав, но утверждал и утверждаю, что есть отдельные личности, которые живут и болеют интересами партии, а вся же эта масса, пришедшая из мещанских семей, не ушла от обывательщины и во время дискуссии не пошла за партией, а пошла за другими лозунгами, чуждыми ленинской партии. Это тебе понятно? К отдельным личностям я отношу и сестру...

Тут он быстро встал и протянул руку:

– Я завтра уезжаю в деревню на партийную работу.

– Уже?

– Да. Мне страшно тяжело. Поступок сестры меня ошеломил, и я не могу быть в Москве.

Письма и дневник прошу тебя сохранить.

А когда он оделся и собрался уходить, сказал:

– Обывательщина, что недавно шла за лозунгами Троцкого, не умерла в гуще нашей партии, она только трусливо притихла, ждет более удобного момента, чтоб снова поднять голову, закричать о себе...

– Оставь, – крикнул я, – партия здорова, переварит...

– Но не всё, – сказал он и вышел из комнаты.

Глава шестая. Записки Татьяны Аристарховой

Размышление первое

Нынче ровно четыре года, как я приехала в Москву. Как они быстро прошли. Не прошли, а галопом проскакали. Сколько за эти годы пришлось пережить, проголодать, прохолодать, перестрадать! Четыре года тому назад, как и нынче, была в небе большая луна, приторный запах ночи. Да, это верно: тогда был острый запах поздних цветов. Даже в Москве, когда я рано утром слезла с поезда, вышла из Курского вокзала на площадь, этот запах был, и я как сейчас помню, он обломным потоком обдал тогда меня всю, несмотря на дохлую костлявую лошадь, валявшуюся на площади недалеко от вокзала. Но я прошла тогда мимо лошади спокойно, на ходу взглянула в её выкатившиеся из орбит тёмно-пепельные застывшие глаза и в них, как в зеркале, увидала себя, улыбнулась себе. Москва тогда, несмотря на позднее лето, на всюду валявшуюся падаль, казалось мне, весной пахла, подснежниками. Сейчас тоже позднее лето, лунная ночь и всё та же Москва, – правда, на её улицах не валяются дохлые лошади, не ходят злые, костлявые люди, похожие больше на скелеты, чем на людей, но я не чувствую того острого запаха подснежников, как четыре года тому назад. Неужели я потеряла способность чувствовать запах весны, лета, осени, зимы? Неужели я не могу различить запах подснежника от запаха только что выпавшего снега? Да, не могу. Я даже не могу различить запах остаркового чебора от запаха первых фиалок. Я не могу молодо плакать, молодо смеяться, как это было раньше. Я потеряла не только способность обоняния, я потеряла зрение, хотя вижу землю, дома, людей, солнце, луну, но не могу так остро, так хорошо различить молодость от детства, детство от старости, я вижу только перед собой серое, ничего не говорящее пространство, на котором стоят, движутся ничего не говорящие моему зрению предметы, вещи, люди. Почему это? Отчего? Ответа не нахожу. Да и не нужен он. Нынче вечером обещали ребята принести «анаша», я накурюсь, и тогда всё переродится передо мной: сольются в одно целое улицы, площади, авто, лихачи, люди и закружатся колесом, а я, сидя на корточках и глядя на это колесо, буду покачиваться из стороны в сторону всем туловищем и безудержно хохотать. Ха-ха! Какой у меня хриплый, нехороший смех. Мне становится от него холодно, до отупения безразлично. Мне кажется, что жизнь моя прошумела и ушла. Кто это так сказал? Это не мои слова. Это сказал какой-то поэт, а какой – я совершенно не помню и не знаю. Разве неправда, как хорошо: «жизнь **прошумела и ушла**». И я, заваливаясь прямо животом на кровать, несколько раз повторяла: «жизнь прошумела и ушла, жизнь прошумела и ушла»... А когда мне надоело повторять, я перевернулась на правый бок и стала смотреть в окно. Смотрела я до тех пор, пока не появилось в противоположных окнах электричество, – моё окно выходило во двор и как раз упиралось в большой корпус другого дома, в котором жили коммунисты холостые и семейные. Из моего окна, не вставая с кровати, было хорошо наблюдать за жизнью в противоположном корпусе. Один раз я видела странную и единственную картину, как одна жена одного коммуниста в каких-нибудь два часа перепробовала надеть на себя одиннадцать платьев разного фасона и цвета. Надев новое платье, она несколько минут вертелась, кружилась перед большим трюмо, вращая головой во все стороны и любуясь собой. Насмотревшись на себя, она выходила в другую комнату и столько же, сколько вертелась перед зеркалом, она вывёртывалась и перед мужем, как змея перед игроком на свирели. Сколько стоят эти одиннадцать платьев? А сколько стоит такая красивая и модная жена? Я думаю, ни одна спецовка не покроет её ненужной жизни. А я разве нужна для жизни? Я ничего не беру лишнего у жизни, не отнимаю у рабочего часть его труда, который должен идти на накопление, а живу на свои гроши, но я тоже не нужна. А ещё я раз видела такую картину и опять в этом же корпусе: посреди

комнаты стояла толстая голая женщина, похожая на сырое белое облако, а рядом с ней голый мужчина, высокий дылда, в два раза выше её, тонкий, как жердь, и страшно костлявый. Этот дылда стоял за её спиной, выгибал туловище, сгибал голову и, как журавль, целовал её свысока в шею, в спину, в затылок, в вялые и безобразно отвисшие груди, а она смотрела в зеркало и чопорно восхищалась собой. Глядя на эту пастораль социалистического века, на эту пару редкостных экземпляров, я готова была надорваться от смеха, лопнуть и не встать с кровати, и, наверно бы, лопнула, ежели бы не помог товарищ, который жил в другой комнате, рядом со мной, и тоже наблюдавший за изумительной идиллией. Сосед запустил туда вместе с «чёртом» небольшим облупленным мандарином, который легко перелетел узкое пространство двора и как раз попал в раскрытое окно необыкновенной пары, мягко шлёпнулся на подоконник, но, несмотря на мягкое его падение, пара забываемых экземпляров страшно перепугалась, бросилась в сторону, а через какую-нибудь секунду с шумом и треском упала штора и закрыла от моих глаз необычайную пастораль переходного времени. После такой картины я впала в холодное раздумье и, повернувшись лицом к потолку, увидела всю свою жизнь за последние четыре года в Москве, и я сказала себе: – Ты видела сейчас, как один высокий дылда целовал толстую женщину, похожую на огромный жирный и бескостный кусок мяса? – Видела, – ответила я себе другим голосом. – Её целовал один дылда? – Один. – А тебя целовали в одну ночь шесть дылд? – Верно, – ответила я на вопросы другого голоса; другой голос ещё жил во мне и не утратил своего значения и порой очень ярко, определённо высказывался и больно бил... Этот второй голос говорил мне: – Тебя целовали, захватили, замусолили. – А первый, стараясь перекричать второй, кричал: – Жизнь прошумела и ушла. – Второй тоже начинал кричать громче первого: – Врёшь! Она только чуть-чуть прошла! – Но первый ещё громче начинал орать: – Нет, ты врёшь, она прошумела и ушла. – Слушая внутри себя оба голоса, я закрывала глаза и старалась вспомнить все эти семь лет, что не прошли, а проскакали безумно быстро, держа меня на своей спине. Теперь я не вижу быстрого полёта лет, теперь я не нахожусь на огненных крыльях времени, а спокойно лежу в грязном болоте и, как выброшенная волной на берег рыба, трепещу и смердящим запахом заражаю и без того заражённый воздух. Верно ли это? И слышу из глубин своего нутра, из-под первого голоса, второй: – Нет, неверно. Тебя только зацеловали, захватили, замусолили. Тебя только затянули, опутали паутиной плесени, чтобы ты не видела солнца, голубого неба, чтобы не чувствовала запаха первого снега, запаха первых весенних подснежников, запаха чернозёма и всего великолепия и величия жизни. Тебе необходимо встряхнуться, крепче упереться ногами в землю, взглянуть на небо, где всё так же, как и до этого вечера, бегут облака, купаются жаворонки, вслушиваясь в сладкие песни, светит ослепительное солнце, а ночами бодрствует жёлтая, спелая, как антоновское яблоко, луна, и всегда с правой стороны. – Я открыла глаза: и действительно в небе была луна, и похожа она была на антоновское яблоко и светила с правой стороны. Я радостно вскочила с постели, завертелась по комнате, но увы! – тут же остановилась: я совершенно потеряла обоняние. Сейчас для меня не пахнет луна, как раньше. Сейчас я не чувствую запаха ночи и... своей молодости. Я села на пол, положила на колени руки и дико во всё горло не то закричала, не то захохотала: – Жизнь прошумела и ушла! Так почему же они, черти, не идут ко мне! Почему они не несут «анаша»? Ну, скорее! Скорее! Эх, и накурилась бы я! Давайте мне скорее «анаша»! – Потом я утихла, и мне стало опять безразлично, я только чувствовала, как по моим щекам катились капли слёз, падали на обнажённые руки... Так, сидя на полу, я провела одиноко всю ночь и в эту же ночь продумала всю свою жизнь, вспомнила отца, бабушку, мать, родное село, революцию, мужиков, Акима. (Здесь после слова «Акима» я выбрасываю большой кусок, так как это же содержание имеется в её письмах к Николаю, приведённых мною в начале сей повести. – С. М.). Я вспомнила комсомол в родном селе. Его хорошее отношение ко мне. Вспомнила, как многие из этого комсомола добровольно ушли на фронт и там сложили свои головы за революцию. А оставшиеся в живых вернулись обратно и сейчас крепко стоят на постах и охраняют

завоевания Октября. Я никогда не забуду светлоглазого Петра, сына бедняка Вавилы, своих поездок с ним по другим сёлам и деревням, ночёвок в полях под копнами хлеба, ночёвок в лугах под снопами сена, его грубоватого товарищеского ко мне отношения, его какой-то своеобразной целомудренности, которой я тогда не понимала, да и не думала понимать... Потом я уснула и совершенно не слышала, как вошли в мою комнату Николай и Пётр, с которыми я не виделась пять лет... Не успела я подняться с пола, как Николай подбежал ко мне, тревожно спросил: – Что с тобой? Нездорова? – Нет, – ответила я, – нынче исполнилось четыре года, как я живу в Москве. – И благодаря этому нужно спать на полу, да ещё в такой позе? – сказал всё так же тревожно Николай. – Нужно, – ответила я кивком головы и, взглянув на брата, а потом на Петра, добавила: – Я всё время думала. – О чём думала? – не отрывая глаз от меня, спросил Николай. – Я видела во сне тебя и вот его, – засмеявшись громко, ответила я и быстро вскочила с пола.

Глава седьмая. Встреча

Николай был недолго. Он поднялся и сказал: – Вы давно не виделись, посидите, а я уйду – И, не подавая руки, ушёл. Я осталась одна с Петром. Пётр сидел на диване и, облокотившись на левый локоть, подперев ладонью голову, смотрел на меня. Он за эти пять лет почти физически не изменился, только пополнел, возмужал: из деревенского парня превратился в городского, но не в такого городского щеголя, каких нынче развелось очень много, а в парня в лучшем смысле слова, в парня, который без ропота, по совести прёт и попрёт дальше возложенную на него партией и рабочим классом работу, честно и с тонкостью всего своего ума будет проводить её в жизнь. Глядя на него, я видела в нём, несмотря на указанные в нём перемены, всё того же простого и милого Петра, я видела того же безбородого, безусого краснощёкого блондина, я видела тот же немного курносый с чуть-чуть вывернутыми ноздрями нос, те же блестящие тёмно-голубые глаза, которые сейчас как будто стали ещё глубже, синее, напоминали собой только что распутившиеся и омытые утренней росой васильки. Я слышала тот же мягкий звенящий голос, тот же звонкий добродушный и искренний смех, похожий на смех ребёнка, что пять лет тому назад заражал меня, и я тогда хохотала до слёз, а он, глядя на меня, больше смеялся, а я ещё больше, и до тех пор, пока оба не охрипнем. Глядя на него, я думала: сколько было тогда молодости, веселья в нашем смехе? Сколько было тогда в нас задора, здоровья. Мы тогда, работая в комсомоле, не интересовались, не замечали солнца, яркой ослепительной зелени, весенних цветов, даже теперь необычной, прекрасно-царственной весны, которая резко шествовала по садам, по полям и по лугам, щедро обряжая в роскошные благоуханные наряды землю. А не замечали мы солнца, зелени, цветов и весны не потому, что мы не хотели замечать, а не замечали потому, что мы сами были солнцами, что мы сами были яркой зеленью, что мы сами были самыми прекрасными цветами из всех цветов, какие только бывают на земле, что мы сами были лучезарной весной, какие тоже бывают на земле только... А вот теперь?.. Да что я? Я могу говорить только о себе. А он, Пётр, остался всё таким же, каким был пять лет тому назад. Его не сломали голод, холод, тиф, фронты и работа. Он стал ещё более закалённым, чем был тогда. В нём всё та же весна, всё та же молодая чернозёмная сила, которая обильно выделяет соки, необходимые для жизни. Его глаза цветут ещё ярче, чем тогда, пять лет тому назад. Глядя на него и рассуждая так, я почувствовала, как мне стало больно, как сжалось моё сердце, как по всему моему телу поползла снизу вверх судорожная жуть, подползла к горлу, стала давить, да так, что в глазах потемнело, брызнули слёзы, закружилась комната, волчком завертелся Пётр, и все – и он, и комната поплыли куда-то в далёкое туманное пространство. Я, чтобы не упасть, крепко ухватилась обеими руками за край стола и не помню, как опустилась на стол, протянула руки, положила кверху ладонями на стол, положила на них тяжёлую, как будто не мою, тёмную голову и так пролежала несколько минут, а сколько – хорошо не помню. Подняла голову я только тогда, когда через всё моё существо переползла корявая Жуть, когда успокоилось сердце, тьма отвалила от головы, глаза отчётливо увидели очертания комнаты и человека, сидевшего всё так же неподвижно против меня. Когда я подняла голову, Пётр поднялся с дивана, вылез из-за стола и, заложив руки за спину, медленно стал прохаживаться по комнате. Комната была у меня небольшая, но светлая, опрятная. Обстановка: тёмно-коричневый кожаный диван, два кожаных кресла, два стола, четыре венских стула, этажерка с книгами, зеркальный шкаф, около входной стены, выходящей в коридор, стояла массивная кровать с блестящими шишками, около кровати тумбочка, на тумбочке коробка пудры «Лебедь» и третий том стихов Александра Блока. Я только сейчас, когда он встал и заходил по комнате, заметила, что Пётр гораздо стал шире в плечах, немного сутулился. Сутулость и выпуклость его спины рельефно отражались в зеркале шкафа и были более заметны, чем на нём. Он заметил, что я смотрю на него, остановился, взглянул на меня тёмно-голубыми, небольшими,

но необыкновенно умными глазами. – Что вы на меня всё смотрите? Неужели я так резко изменился? Я был на родине, и мне крестьяне говорили, что я только пополнел, а постареть не постарел. Мама только одна говорила, что я здорово постарел... Но это она просто так из любви к сыну – Нет, вы всё такой же, как были и раньше, и нисколько не постарели, разве вот только сутулость... – Это от кабинетной жизни... А вот вы, Татьяна, очень изменились... – Не думаю, – вздохнув, ответила я. – Ну что мне может сделаться, ровно ничего. Я ведь не была на фронте. Всё время околачивалась в селе, а с осени двадцатого года – в Москве.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.